

ТВОРЧЕСКИЕ ДНЕВНИКИ ДОСТОЕВСКОГО

Статья Л. М. Розенблюм

Достоевский не вел дневников в обычном смысле. В отличие, например, от Толстого или Герцена (в 40-е годы) он почти не испытывал потребности изо дня в день записывать пережитое и пережитое, заниматься самоанализом с пером в руке. Многие в характере писателя объясняют это: его болезненная застенчивость и скрытность, нежелание доверять самое сокровенное даже бумаге, его способность отдаваться волнениям жизни целиком, до предела, до полного изнеможения, так что на записывание впечатлений не оставалось ни времени, ни душевных сил, наконец, его преимущественный интерес к событиям исключительным, к впечатлениям настолько ярким, что они и без того оставались в памяти навсегда вместе с надеждой когда-нибудь рассказать о них читателю. На основе именно таких воспоминаний созданы биографические главы и эпизоды в «Дневнике писателя» 1873, 1876 и 1877 гг.

Нужно иметь в виду также, что Достоевский не принадлежал к числу литераторов, которые любят писать много и легко берутся за перо. Подчас ему трудно было сесть за письмо, особенно если предстояло говорить о своем душевном состоянии. (Письмо было как бы критерием трудности. Так во вступлении к «Дневнику писателя» 1876 г. сказано: «...Я вижу, что я не мастер писать предисловия. Предисловие, может быть, так же трудно написать, как и письмо»¹).

Нередко, чтобы написать небольшое ответное письмо, Достоевский преодолевал некий внутренний барьер, — боясь, что слова исказят, упростят мысль и чувство: «Ну, вот и все обо мне, — сообщал он Е. А. Штакеншнейдер, — кроме внутреннего, душевного, но ведь это в письме не опишешь, потому-то и ненавижу писать письма»². Объясняя причины своего молчания В. В. Михайлову, Достоевский признавался: «Вторая причина — мое страшное, непобедимое, невозможное отвращение писать письма. Сам люблю получать письма, но писать самому письма считаю почти невозможным и даже нелепым: я не умею положительно высказываться в письме. Напишешь иное письмо, и вдруг вам присылают мнение или возражение на такие мысли, будто бы мною в нем написанные, о которых я никогда и думать не мог. И если я попаду в ад, то мне, конечно, присуждено будет за грехи мои писать по десятку писем в день, не меньше (...) просто — не умею писать писем»³. И в письме к Е. Ф. Юнге о том же самом: «Но если б Вы знали, до какой степени я не умею писать писем и тягочусь писать их»⁴.

Разумеется, между письмом и дневниковой записью есть существенная разница. Письмо рассчитано на чужое восприятие, дневник же пишется для себя. Но, видимо, Достоевского более всего затрудняло не то, чем письмо отличалось от дневника, а то, в чем они были сходны: трудна была необходимость прямого монологического выражения своих мыслей и чувств. (Насколько Достоевскому был внутренне чужд монологический тип мышления, прекрасно показал М. М. Бахтин⁵.)

И все же Достоевский создал своеобразный дневник: не только известный журнал под названием «Дневник писателя», но его далекий «прообраз» — дневник для себя, который он сам называл «письменной книгой». «Письменные книги» — это записные тетради Достоевского, которые он регулярно вел в течение двух последних десятилетий своей жизни.

Главное содержание каждой тетради составляют рабочие записи к будущим произведениям — художественным и публицистическим, — ради них собственно и завелась тетрадь. Но рядом или вперемежку с ними — заметки глубоко личного характера, деловые и бытовые записи.

Писатель никогда не расставался с этими тетрадями. Уезжая, он брал их с собой. 15/27 июля 1876 г. Достоевский сообщал жене из Эмса: «Приготовляясь писать, перечитываю мои прежние заметки в моих письменных книгах»⁶. Обращение к прежним книжкам и тетрадям естественно для рабочего процесса Достоевского: начиная с середины 60-х годов в основных чертах определился тот круг проблем, который он разрабатывал и развивал в своем последующем творчестве. Поэтому Достоевскому могли пригодиться наброски мыслей или художественных образов, сделанные много лет назад.

Часто он пользовался двумя или тремя тетрадями параллельно, не соблюдая внешнего порядка, густо испещряя страницу записями самого различного содержания. Предположительный подсчет числа подписчиков, которое мог бы собрать журнал «Время» в 1863 г., дается рядом с наброском неосуществленной статьи «Гоголь и Островский», черновому тексту редакционного «Объявления» предшествуют наметки маршрута первого заграничного путешествия Достоевского. На одном и том же листе, как бы перебивая друг друга, лепятся наброски к «Преступлению и наказанию» и повести «Крокодил». Сверху на листе с первоначальными записями к повести «Кроткая» отмечено, что цензору Ратынскому нужно послать (или послан) экземпляр «Записок из Мертвого дома» и т. д.

Записи биографические, особенно те, что касаются душевной жизни Достоевского, делаются, как правило, очень кратко, здесь есть своя «тайнопись». Например, после полемических рассуждений о том, национальна ли наука, написана одна фраза: «Станция Тверь, profession de foi» (стр. 176 настоящ. тома), которая, очевидно, и без подробностей должна была многое напомнить Достоевскому. 1864 год был очень тяжелым в жизни писателя, 15 апреля умерла его жена, а в июле — любимый старший брат Михаил Михайлович. Событиям этого года и душевному состоянию Достоевского посвящен маленький «дневничок» в записной книжке:

«25 ноября 63 выезд из Москвы. 16 апреля <...>. 10 июля, в 7 часов утра — смерть брата Миши. <...> Маша и брат, будущность, потом настоящее» (стр. 188).

Среди набросков к очередному выпуску «Дневника писателя» 1876 г. находим такую запись: «Неискренность в общественных сходках. (Страхов у меня на вечере.)» — стр. 466.

Если Достоевский считал, что событие его личной жизни имеет более широкий психологический или общественный интерес, он писал подробнее, как бы заранее предусматривая возможность литературного воплощения этих переживаний (на двух таких записях мы остановимся ниже). Дневник «для себя», не теряя своей непосредственности и искренности, мог стать и дневником «для других». Таких примеров больше в тетрадях 70-х годов, когда Достоевский поставил перед собой новую, оригинальную творческую задачу создания «Дневника писателя».

Иногда, в силу внешней необходимости, Достоевский прибегал в записных тетрадях и к традиционной форме дневника.

Будучи редактором «Времени» и «Эпохи», а затем — «Гражданина», он должен был изо дня в день вести дела, подытоживать результаты, давать поручения сотрудникам, оценивать поступающие рукописи, отвечать корреспондентам. Поначалу Достоевский стремится организовать свои записи, придать им характер настоящего дневника. Но этого желания хватает не надолго. См., например, «Дневник по журналу <„Гражданин“>» (стр. 304). Деловые записи редактора «Эпохи», которые вначале ведутся подряд, в хронологическом порядке, затем приходится разыскивать на далеких от «дневника» листах, среди посторонних заметок. Видимо, по настоянию врачей в июне—июле 1874 г. Достоевский вел «Дневник леченья в Эмсе» с подробным описанием своего самочувствия и всех изменений погоды.

Но такой тип записей не характерен для Достоевского, не для него создан, и он каждый раз оставляет дневник обычного типа, чтобы погрузиться в свой привычный «беспорядок», в котором почти всегда легко и свободно ориентируется.

Основа всех «письменных книг» Достоевского — творческие записи, отражающие повседневный процесс первоначального накопления материала, его вдохновенного превращения в сюжеты и образы новых произведений, процесс интенсивной работы мысли великого писателя, охватывающий проблемы социальные, политические, философские. Духовная жизнь Достоевского отражается здесь предельно непосредственно и подлинно, разумеется, в той мере, в какой это вообще возможно при передаче мыслей и чувств в беглых заметках и набросках. Многочисленные записи дают возможность увидеть Достоевского в делах и заботах журнальных и семейных, в его отношениях с окружающими людьми, понять до конца ту мучительную борьбу с нуждой и болезнью, которую он вел всю жизнь.

Направивается сравнение тетрадей Достоевского с записными книжками Л. Н. Толстого, потому что по внешней структуре они необычайно похожи. Например, в записной книжке Толстого 1858—1863 гг. рядом с философскими размышлениями о смерти и бессмертии, о любви, о социальной психологии, о вопросах современной политики находятся заметки к повести «Казак» и другим произведениям. А рядом с этим — собственно дневниковые записи.

«2 февраля. Для каз(аков) след(ующая) форма. Соединение рассказа Еп(ишки) с действ(ием).

17 февраля. Есть правда личная и общая <...>

23 марта. Заутреня. Я не одет, иду домой. — Толпы народа по мокрым трот(уарам). Я не чувствую ничего, что дала жизнь взамен. Истину. Да она не радуется, истина. А было время. Белое платье, запах вянувшей ели. Счастье. <...>

28 марта. Устаревш(ий) Генерал помещик. В комедию. <...>

30 марта. <...> Записки перед проектом Суэцкого канала. <...>

11 апреля. — Я видел во сне, что в моей темной комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. <...> Я проснулся, я был счастлив пробуждением. Чем же я был счастлив? Я получил сознание и потерял то, которое было во сне. Не может ли так же быть счастлив человек, умирая? <...> Ничто не умрет, и я не умру никогда и вечно буду счастливее и счастливее. <...>

И несколько позднее: «К К(азакам). Ему кажется, что он не любит ее, кажется, что он притворяется. Вдруг она изменяет»⁷.

В другой книжке после набросков к «Войне и миру» (октябрь-ноябрь 1865 г.): «Долохов солдатом наблюдает солдат в сражении...» идут, сделанные примерно через год, заметки об искусстве и критике: 1) Критика искусства есть то же, что органическая химия. Она дает анализ, а знание выводов анализа ничего не дает. 2) Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна»⁸.

Толстой, так же как и Достоевский, делает заметки о визитах, бывших и предстоящих, о неотложных делах, о книгах, которые нужно прочесть, ведет хозяйственные расчеты.

Однако при внешнем сходстве еще очевиднее становятся различия. Для Достоевского записи в тетрадях — важнейшее звено творческого процесса, а сама тетрадь — единственное место, куда помещаются дневниковые записи.

У Толстого иначе. С 1858 по 1865 гг. он одновременно с записными книжками вел дневник, отражающий его духовную жизнь гораздо подробнее, чем книжки. Вместе с тем, главная творческая работа Толстого сосредоточена не в книжках. Все ее этапы в полном объеме представлены другими рукописями. Записные книжки в этом случае — «промежуточный» жанр: в них есть и дневниковые элементы, и творческие наброски, и теоретические размышления, и заготовки материала, и просто «разные записи». Интересно сопоставить записи Толстого в дневнике, книжке и творческой рукописи, сделанные одновременно. 23 апреля 1858 г. Толстой отмечает в «Дневнике»: «Ветер, холодный, почки надуваются, 3-го дня были подснежники. Соловей поет 2-й день. Писал немного письмо Ржавского». И 24 апреля: «Писал п(исьмо) Р(жавско-го). Идет на лад... Я спокойнее, работал в саду, и лучше стало. Уже и желтые цветы показались. Был дождичек теплый утром. На берегах желтый, зеленый нежный по-

кров»⁹. В записной книжке под датой 23 апреля читаем: «Дождь был ночью. На берегах волнами зеленеет; трава стала расти с индивидуальностью; тучки еще ходят ночные дождевые, но чувствуешь, что будет жарко... Предлагает жениться Марьяне»¹⁰. В эти дни Толстым было написано второе письмо Ржавского, которым заканчивалась первая часть «Кавказского романа» (будущей повести «Казак»). Затем, 25 апреля, Толстой заносит в дневник: «(...) С утра покопался в хозяйстве, перечитывал военные рассказы. Последние плохи. Получил письма от Алексеева, Ник^(олиньки), Дружин^(ина) о журнале, Колбасина и Alexandrine. (...) Писал конец письма. Небрежно, но идет. Теперь все переделать надо в лето»¹¹. В записной книжке с 23 апреля до 9 мая никаких заметок нет.

Роль записных книжек значительно возросла для Толстого в период, когда он перестал регулярно вести дневник (с 12 ноября 1865 г.). 17 апреля 1878 г. он пишет: «После 13 лет хочу продолжать свой дневник»¹². При отсутствии дневника его функцию несли, как и у Достоевского, только записные книжки. Заметно увеличилась их роль и в творческом процессе. Громадная работа Толстого по созданию «Азбуки» и «Русских книг для чтения» отражена в записных книжках. Сюда занесено множество сюжетов для народных рассказов, а также пословиц и поговорок. Но работа над романами, как и прежде, ведется отдельно (за исключением единичных набросков) и лишь философское осмысление некоторых тем, в частности исторической темы «Войны и мира», имеется в книжках¹³. В 1881 и 1884 гг., когда Толстой ведет дневник постоянно, записи в книжках носят эпизодический характер, сведены к минимуму. В эти годы, отказавшись от художественного творчества, Толстой, естественно, не заносит в книжки и литературных «заготовок». Таким образом, для сравнения с Достоевским наиболее интересны записные книжки Толстого конца 60-х — начала 70-х годов.

Содержание самих записей дает возможность увидеть глубокие психологические различия между их авторами. Огромное внимание Толстого приковано к его собственной жизни, к его внутреннему миру, к малейшим движениям души. Для Толстого — это неисчерпаемый источник познания человека. Не то у Достоевского, который почти не занимается самоанализом, а если пишет о себе, то обыкновенно в связи с какими-то конкретными событиями, происшедшими вне его жизни, но его затронувшими. Вот характерное признание в «Дневнике писателя»: «Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других»¹⁴.

В дневниках и записных книжках Толстой всегда пишет о природе, с поразительной чуткостью подмечая все, что ежедневно происходит в этом великом и таинственном мире. Вне природы человек для Толстого непонятен и немислим. В записных тетрадах Достоевского природы в сущности нет (за исключением нескольких описаний в «Дневнике лечения», которые носят сугубо «прикладной» характер). И хотя автор «Карамазовых» пропел гимн «клевым весенним листочкам» и «голубому небу», наблюдать, подобно Толстому, как «трава растет с индивидуальностью», он не умел.

Зато неизмеримо сильнее, чем Толстой, Достоевский связан с политической, журнальной борьбой своего времени. В его тетрадах эта тема не прерывается ни на один день, в записных книжках Толстого она почти не присутствует. Поэтому записи Достоевского, как правило, обостренно полемичны. Открывая первую же тетрадь 60-х годов, мы сразу входим в атмосферу полемики: «Куда вы торопитесь? (Чернышевск.) Общество наше решительно ни к чему не готово. Вопросы стоят перед нами. Они созрели, они готовы, но общество наше отнюдь не готово. Оно разъединено» (стр. 126). Проходит десятилетие. Многое изменяется во взглядах Достоевского, в его судьбе, но полностью сохраняется манера формировать и отстаивать свои убеждения в горячем споре с идейными противниками, а подчас и с самим собой: «Вспомните Дидро, Вольтера, [Руссо], их век и их веру... О какая это была страстная вера. У нас ничего не верят, у нас *tabula rasa*» (стр. 367). И вот последние записи в последней тетради: «Вы изолгались и избарабанились. Не всякому же Градовскому отвечать» (стр. 398). Тетради Достоевского наглядно иллюстрируют верность теории М. М. Бахтина об основополагающем значении диалога во всей идейно-художественной системе писателя, в картине мира, им созданной: «Быть значит общаться диалогически»; «Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса — минимум

жизни, минимум бытия»¹⁵. Толстой во многих записях своих книжек анализирует чуждые ему концепции (например, историка Соловьева), опровергает их, обосновывая свой взгляд, но именно опровергает, а не открывает полемики. При всем могучем правдоискательстве Толстого, у него нет темперамента журнального бойца. Если журнальные баталии для Достоевского-мыслителя — необходимая питательная среда, то для развития философии Толстого они помеха, как всякая суета сует.

Мы видим, что записные книжки и по составу, и по значению в творческом процессе, и по характеру записей глубоко отражают личность автора.

До сих пор записные книжки и тетради Достоевского привлекали внимание исследователей главным образом потому, что они содержат ценнейшие материалы творческой лаборатории писателя, которые дают возможность изучить историю создания его великих романов, некоторых повестей и публицистических статей. Такой подход и закономерен и безусловно плодотворен. Но важен и другой аспект изучения, особенно теперь, когда завершается публикация всех дошедших до нас записных книжек и тетрадей Достоевского. Мы рассматриваем их как своеобразные дневники, где работа над конкретным произведением представляется частью духовной жизни автора в высшем ее проявлении.

Особенно ясно обнаруживается здесь связь полифонизма у Достоевского с авторским сознанием, которое органически вбирает в себя многоголосие эпохи.

І. «ПРАВДА ЛИЧНАЯ И ОБЩАЯ». ИСТОКИ ЖАНРА «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Записные книжки и тетради Достоевского в какой-то мере предопределили жанровые особенности «Дневника писателя», поскольку и для них, и для «Дневника» характерно свободное чередование художественных, публицистических и биографических заметок, отражающих и современную действительность, и жизнь самого автора.

Иногда внутренняя связь «личного» и «общего» выявляется в результате тесного «территориального» соседства разных записей, сделанных в одно и то же время. В других случаях, переживая и осмысливая события собственной судьбы, Достоевский затрагивает на их основе проблемы большого, общечеловеческого значения.

«16 АПРЕЛЯ...»

Среди «дневниковых» заметок Достоевского особое место занимают его философские размышления, записанные на другой день после смерти жены, М. Д. Исаевой, 16 апреля 1864 г. Смерть эта не была неожиданной. Здоровье Марии Дмитриевны, болевшей туберкулезом легких, резко ухудшилось при переезде из Сибири в Петербург. В последние два года положение стало критическим, и по совету врачей, предлагавших изменить климат, она переселилась сначала во Владимир, затем в Москву. Достоевский оставался в Петербурге, он был поглощен редактированием журналов «Время» и «Эпоха», своей литературной работой. В это же время он пережил страстное чувство к А. П. Сусловой. Его отношение к жене в ту пору очень мало напоминало прежнюю безумную любовь, но оставалось сердечное сострадание к близкому человеку, постоянная забота о ее лечении и благополучии, о ее сыне и, главное, ощущение глубокой, вечной связи с женщиной, еще недавно так много значившей в его судьбе.

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» Поразительна чистота и искренность тона! Достоевский нигде, ни единым словом не пытается преувеличить свое страдание, обнаружить «надрыв», его действительно нет. Но громадность проблем, которые он стремится сейчас уяснить: личное бессмертие, причины развития человеческого общества, возможность будущей мировой гармонии, — сами говорят о масштабах переживаемого события. Рассуждая об извечном противоборстве в душе человеческой эгоизма и жертвенности, пронизывающем решительно все отношения между людьми, и в особенности отношения семейные, Достоевский исходит из откровенного бескомпромиссного анализа своей жизни. «Итак, человек стремится на земле к идеалу, —

противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, т. е. не приносил *любви* в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравнивается райским наслаждением исполнения закона, т. е. жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе Земля была бы бессмысленна» (стр. 175). Главное нравственное стремление отдельного человека и всего человечества Достоевский определяет так: «Закон я сливается с законом гуманизма», «И это величайшее счастье». Однако будущее царство гуманизма мыслится лишь по образцу евангельскому (рай Христов): «Не женятся и не посягают,— ибо не для чего; развиваться, достигать цели посредством смены поколений уже не надо» (стр. 173).

Таким образом «величайшее счастье» оборачивается мировой катастрофой, ибо полностью завершившееся развитие означает конец земного существования человечества («„времени“ больше не будет»). И здесь очень ясно проявляется та особенность мышления Достоевского, на которую обычно не обращают внимания исследователи: отсутствие склонности к мистицизму. Как только мысль доходит до этой границы, тема перестает увлекать писателя: «Все себя тогда почувствует и познает навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе, — человеку трудно и представить себе окончательно» (стр. 174—175). Исследователи обычно ссылаются на идею соприкосновения с «мирами иными» в «Братьях Карамазовых» — в проповеди Зосимы и в знаменитой сцене духовного возрождения Алеши: «Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю <...> „Облей землю слезами радости твоея и любви сини слезы твои...“ <...> Как будто нити от всех этих бесчисленных миров божьих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным“. Простить ему хотелось всех и за все <...> Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг...»¹⁶ Но даже и здесь благодатный смысл мистического мироощущения сводится к тому, что оно укрепляет духовные силы человека, делая его борцом за справедливость в делах земных.

Важно заметить, что в записных тетрадях середины 70-х годов Достоевский с большой энергией подчеркивает отсутствие мистических идеалов в своем религиозном сознании: «Я вам ни одного мистического верования еще не дал», — пишет он, обращаясь к воображаемому оппоненту (стр. 563). И далее: «Я православие определяю не мистической верой, а человеколюбием, и этому радуюсь» (там же). Эта же мысль повторена в «Дневнике писателя»: «В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, — по крайней мере, это главное»¹⁷.

Несколько раньше он утверждал, что к религии обращается лишь в поисках нравственных оснований жизни: «Всякая нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности» (подчеркнуто мной. — Л. Р. — стр. 449). Вскоре Достоевский вновь возвращается к этой теме: «Отделить судьбу мистическую от гражданской. Тут речь вовсе не о [вере] том, об чем вы думаете. Хотя элемент веры очень важен в народе. Здесь же, в настоящем случае, элемент веры в живой жизни есть честь, совесть, человеколюбие, источник всего — Христос <...> Я вам не представлял ни одной мистической <идеи>» (стр. 565). Именно так. Самые значительные художественные воплощения христианского идеала Достоевского: Соня Мармеладова, Мышкин, Макар Долгорукий, Алеша Карамазов далеки от мистицизма. Христос для них олицетворяет высшие земные добродетели: самоотверженную гуманность, истинную нравственность.

Очень существенно, что и явление Христа, и мистическое мироощущение человека Достоевский готов подвергнуть научному изучению. В одной из полемических записей, сделанных в конце жизни, он заявляет: «...Огромный факт появления на земле Иисуса и всего, что за сим прошло, требует, по-моему, и научной разработки. А между тем не может же погнушаться наука и значением религии в человечестве,

хотя бы и в виду исторического только факта поразительного своею непрерывностью и стойкостью. Убеждение же человечества в *согласии миров* иным, упорное и постоянное, тоже ведь весьма значительно» (стр. 695). Познакомившись, видимо, с теорией Лобачевского, Достоевский пытался связать доказательство пересечения параллельных линий в бесконечном пространстве с мыслью о существовании «миров иных» (стр. 699).

Возвращаясь к записи по поводу смерти М. Д. Исаевой, подчеркнем еще раз, что даже в этом случае, наиболее казалось бы подходящем для размышлений мистического свойства, Достоевский не намерен им предаваться. И даже сама мысль о бессмертии («Увижусь ли с Машей?») воспринимается как ощущение непрерывной нравственной связи человека с ушедшими и грядущими поколениями: «Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого я? Говорят, человек разрушается и умирает *весь*. Мы уже потому знаем, что не *весь*, что человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям (*В пожелание вечной памяти* на панихидах знаменательно), т. е. входит частью своей прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества» (стр. 174).

Но если Достоевский без труда мог отстраниться от мистических вопросов, то он никогда не упускал возможности еще раз высказать свои возражения идейным противникам. Такова была неизбежная логика его полемически развивающейся мысли: «Учение материалистов — всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть. Учение истинной философии — уничтожение косности, т. е. мысль, т. е. центр и синтез вселенной и наружной формы ее — вещества, т. е. бог, т. е. жизнь бесконечная» (стр. 175).

Личность Достоевского — человека и мыслителя с большой силой и полнотой предстает перед нами на тех страницах записной книжки, которые посвящены смерти М. Д. Исаевой.

РАСЧЕТЫ И ПРОЕКТЫ АВТОРА «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ»

Параллельно с черновыми набросками к роману «Преступление и наказание», сделанными торопливой, нервной скорописью, на соседних свободных страницах Достоевский тщательно ведет подсчеты своих долгов и расходов.

После смерти М. М. Достоевского журнал «Эпоха» остался в крайне тяжелом материальном состоянии, и еще долго, вследствие краха «Эпохи», приходилось платить кредиторам и даже скрываться от них, мечтая о конце этой кабальной зависимости. В записной тетради мы находим «Подробный счет всем долгам». Здесь: «Векселя просроченные, уплата по предъявлению...», «Срочные векселя...» и «Долги на слово...» «Итого всех долгов <...> 15786» (стр. 215—219). А рядом — список расходов, самых необходимых; среди них: «Мне на жизнь — 250» (стр. 216). И как попытка выйти из кризиса — мысль об издании нового журнала или газеты. Рядом с черновиками «Преступления и наказания» четким каллиграфическим почерком ровными столбцами записываются и подсчитываются прибыли от задуманного издания, если оно пойдет успешно. Предусмотрены все издержки и затраты: «при значительном успехе», «в случае весьма значительного успеха» с учетом распространения каждого из двенадцати номеров журнала в Петербурге, Москве и провинции (стр. 219—234).

Личные «дневниковые» записи Достоевского не только соседствуют, но как бы смыкаются с огромной творческой темой социальной неустроенности мира и мучительных стремлений человека найти хоть какой-нибудь выход. Достоевский — плоть от плоти того мира, в котором живут и страдают его герои, он сердцем чувствует их боль и вместе с ними решает «роковые вопросы». Именно такое душевное состояние писателя, когда напряженная работа над романом перебивается отчаянными попытками выйти из собственного кризиса, очень сильно выражено в письме Достоевского А. Е. Врангелю 18 февраля 1866 г.: «Добрейший и старый друг мой, Александр Егорович, — я перед вами виноват в долгом молчании, но виноват без вины. Трудно было бы мне теперь описать вам всю мою теперешнюю жизнь и все обстоятельства, чтобы дать вам ясно понять все причины моего долгого молчания. Причины сложные и много-

численные, и потому их не описываю, но кой-что упомяну. Во 1-х, сижу над работой как каторжник. Это тот роман в „Русский вестник“. Роман большой в 6 частей. В конце ноября было много написано и готово; я все сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Работаю я дни и ночи и все-таки работаю мало. По расчету выходит, что каждый месяц мне надо доставить в „Русский вестник“ до 6-ти печатных листов. Это ужасно; но я бы доставил, если б была свобода духа. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, т. е. грозят посадить в тюрьму. До сих пор не уладил с ними, и еще не знаю наверно — улажу ли?— хотя многие из них благоразумны и принимают предложение мое рассрочить им уплату на 5 лет; но с некоторыми не мог еще до сих пор сладить. Поймите, каково мое беспокойство. Это надрывает дух и сердце, расстраивает на несколько дней, а тут садись и пиши. Иногда это невозможно. <...> Упомянув вам о моих хлопотливых дрязгах, я ни слова не сказал о неприятностях семейных, о хлопотах бесчисленных по делам покойного брата и его семейства и по делам покойного нашего журнала. Я стал нервен, раздражителен, характер мой испортился. Я не знаю, до чего это дойдет. Всю зиму я ни к кому не ходил, никого и ничего не видал, в театре был только раз на первом представлении „Рогнеды“. И так продолжится до окончания романа, — если не посадят в долговое отделение¹⁸. Достоевский признается, что не хочет брать денег вперед у «Русского вестника», чтобы оставаться нравственно свободным: «жмусь и живу нищенски» (там же, стр. 432). И при этом — жгучее желание обогатиться сразу, «вдруг»: «Ведь я мечтаю знаете об чем: продать его (роман — Л. Р.) нынешнего же года книгопродавцу вторым изданием, и я возьму еще тысячи две или три даже. <...> Но я слишком разболтался о себе. Не считите за эгоизм: это бывает со всеми, которые слишком долго сидят в своем углу и молчат» (совсем, как Раскольников!).

Далее Достоевский, по-видимому, намекает на свой проект нового журнального издания, который, судя по записной тетради, был всесторонне обдуман: «Не знаю еще, что буду делать, когда кончу роман. Главное, тогда подновится мое литературное имя и можно будет к осени что-нибудь предпринять. У меня есть план, но надо быть благоразумным. — Вот вам еще факт: страшно усиливается подписка на все журналы и книжная торговля. Это последние сведения от книгопродавцев, да и сам имею факты»¹⁹. Из суеверного чувства Достоевский не решается посвятить в свой план даже друга, но наедине с собой, молча «в углу», в редких перерывах лихорадочной работы над романом, он лелеял и записывал этот план во всех подробностях.

«...ИХ НАДО ОБЛИЧАТЬ И ОБНАРУЖИВАТЬ НЕУСТАННО»

В тетради 1876—1877 гг. рядом с «Критическими замечаниями» Достоевского о романе Золя «Чрево Парижа» в нижней части листа и на полях мелким, бисерным почерком сделана большая запись. Она касается одного из близких к Достоевскому людей, но при этом имеет отнюдь не только личное, а существенное литературное значение. Это запись о Николае Николаевиче Страхове.

Многое в отношениях Достоевского со Страховым хорошо известно. Не говоря уже о книжках «Времени» и «Эпохи», которые отражают их совместную деятельность в течение пяти лет, напечатаны письма Достоевского к Страхову и Страхова к Достоевскому, их отзывы друг о друге в письмах к другим лицам (особое место среди них занимают письма Достоевского к А. Г. Достоевской и письма Страхова к Толстому). В 1883 г. вышли в свет и до сих пор (несмотря на неточности и умолчания) сохраняют ценность биографического источника «Воспоминания» Страхова о Достоевском. Тем не менее характер дружбы—вражды Достоевского со Страховым, причины постоянно возникавших между ними глубоких разногласий далеко еще не выяснены.

Начнем с 60-х годов. А. С. Долинин, автор статьи «Достоевский и Страхов», считал, что «период существования „Времени“ и „Эпохи“ <...> был периодом наибольшей близости между Достоевским и Страховым»²⁰. Сравнительно с 70-ми годами это,

конечно, справедливо, но даже и здесь вряд ли можно говорить о единомыслии Достоевского со Страховым, тем более о том, что страховское гегельянство укрепило «веру Достоевского в свой реализм», так как дало ему «философское подтверждение».

В архиве Страхова, который находится в Библиотеке Украинской Академии наук (Киев), сохранился очень интересный документ — незаконченная рукопись его статьи «Наблюдения. Посвящается Ф. М. Достоевскому»²¹. (Полный текст будет напечатан в томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования».) Статья написана в эпистолярном жанре, излюбленном авторами «Времени» и «Эпохи», над чем немало иронизировали публицисты «Современника». Поводом для статьи был большой принципиальный спор Достоевского со Страховым летом 1862 г., когда они вместе жили во Флоренции.

Даже в первом своем заграничном путешествии Достоевский, как известно, был менее всего туристом. В Европе его занимали характеры людей, социальные отношения, политическая жизнь, что ярко отразилось в публицистическом цикле «Зимние заметки о летних впечатлениях». Будучи в Лондоне, Достоевский встретился с Герценом, их беседа оставила доброе впечатление у обоих. «Вчера был Достоевский, — сообщал Герцен Огареву 17 июля 1862 г., — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ»²². Страхов отмечает, что тогда Достоевский к Герцену «относился очень мягко и его „Зимние заметки“ отзываются несколько влиянием этого писателя»²³. Мысли о России не оставляют Достоевского. Он уехал из Петербурга в тревожные дни, сразу после пожаров. Две редакционные статьи «Времени» о пожарах были запрещены цензурой. (Их текст будет опубликован в томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования».) «Современник» и «Русское слово» приостановлены на восемь месяцев. Журналу Достоевских удалось избежать этой участи; как было сказано в сообщении министра внутренних дел министру народного просвещения: «...Государь император соизволил разрешить не прекращать ныне издания журнала „Время“, но с тем, чтобы за ним иметь надлежащее наблюдение»²⁴. 7 июля был арестован Чернышевский. Все эти факты нужно иметь в виду, чтобы понять, в каком состоянии душевного напряжения находился Достоевский во время флорентийских бесед со Страховым.

Еще накануне отъезда из Парижа в Лондон Достоевский в теплом дружеском письме звал Страхова за границу, жалуясь на одиночество: «Тоскливое, тяжелое ощущение. <...> чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от насущной родной канители, от текущих собственных семейных вопросов»²⁵. Судя по «Воспоминаниям» Страхова, его долгие беседы с Достоевским за границей и, в частности во Флоренции, где они пробыли неделю, происходили в очень приятных, мирных тонах: «Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина»²⁶. Так писал Страхов через много лет после смерти Достоевского. Но то, что написал он, обращаясь к самому Достоевскому, сразу же после одного из таких разговоров, и, по-видимому, наиболее важного, воссоздает картину совсем иную.

«В одну из наших прогулок по Флоренции, — пишет Страхов, — когда мы дошли до площади, называемой Piazza della Signoria, и остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, — вы объявили мне с величайшим жаром, что *есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь*. Затем мы крепко пожали друг другу руку и разошлись». (Подчеркнутые нами слова перекликаются с той характеристикой Страхова, которую даст Достоевский в записной тетради почти через полтора десятилетия.)

Страхов отмечает далее, что его радует точность и определенность идейных разногласий с Достоевским: «Знаете ли? Ведь это очень хорошо; ведь это прекрасный случай, лучше которого желать невозможно. <...> Мы нашли точку, на которой расходимся». В чем же эта точка? Страхов доказывает, что существуют идеологи, убежденные, что $2 \times 2 = 4$ и иначе быть не может; те, кто считает, что $2 \times 2 = 5$, заслуживают безоговорочного осуждения, поскольку их увлечения не имеют ничего общего с истиной. По словам Страхова, Достоевский выступил непримиримым противником такого взгляда, с его точки зрения безнадежно ограниченного, ибо нет людей, которые сознательно стремятся к ошибке, и нередко те, кто приходит к неверным выводам, искренне

ищут истину. Страхов следующим образом передает рассуждение Достоевского: «По самой сущности дела всякая мысль имеет свой повод и свое основание, всякая мысль, как широкая и глубокая, так и мелкая и узкая, движется по одним и тем же логическим законам и, следовательно, самое грубое заблуждение носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то ни было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо».

Нет сомнения, что в таком изложении Страхова есть полемические передержки, присущая ему способность доводить любой аргумент до «логического конца», в данном случае — до абсурда. «И в самом деле, — продолжает он, — смотрите, кого вы против меня защищаете? Ведь вы защищаете решительно всех; вы приносите меня в жертву каждому, кто только ни задумает открыть рот, потому что что бы он ни сказал и как бы он ни сказал, по-вашему, я обязан непременно понять, что он хочет сказать, и не имеет ли этот желаемый смысл какого-нибудь тайного основания». Страхов считает, что Достоевский предписывает ему такой взгляд на тех, кто не прав: «Хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться».

Вряд ли Достоевский считал, что нельзя обвинять в нелепости «кого бы то ни было». Но существо его позиции Страхов передает точно.

Да, действительно, Достоевский был убежден, что нельзя судить идеолога, да и вообще человека по одним лишь последним выводам, к которым он пришел, необходимо понять человека в целом, почувствовать его пафос, внутренний смысл его исканий, найти их «тайное основание». Спор во Флоренции затронул один из главных вопросов мировоззрения Достоевского и его творчества. Еще не был написан ни один из великих романов-диспутов, где Достоевский стремился отыскать «зерно истины», некую субъективную правду в жизненной позиции героев, выступающих идейными противниками, но теоретически его художественный метод, как видим, был полностью подготовлен. И не благодаря Страхову, а вопреки ему и в резкой полемике с ним.

Судя по контексту статьи Страхова, в дискуссии между ним и Достоевским вопрос об отношении к «инакомыслящим» стоял вовсе не абстрактно. Речь шла, конечно, о журнальной полемике и прежде всего с лагерем революционной демократии, поскольку «Время» и «Современник» вели ее из номера в номер, и основным теоретиком почвенничества выступал Страхов. В «Воспоминаниях» Страхов отмечал стремление Достоевского в начале 60-х годов не обострять полемики, но приписывал это лишь тактическим соображениям. Статья «Наблюдения» говорит о большем. Достоевский, исходя из глубоких и принципиальных своих убеждений, хотел вести идейную полемику в ином русле, именно так, как он ее начал в статье «Г.—бов и вопрос об искусстве». Совершенно очевидно, что до лета 1862 г. Достоевского не покидало желание вернуться к тому тону полемики, который существовал при жизни Добролюбова и который заметно изменился, когда главными ее участниками стали Антонович и Страхов. Страхов же стоял на своем. Продолжая рассказ о разногласиях с Достоевским, он пишет в той же статье: «Часто возбуждала неудовольствие и недоумение ожесточенная полемика, которую у нас так охотно ведут журналы. Одна из самых чистых и явных струй в том мутном потоке, без сомнения, та, которую я указываю, то есть, с одной стороны, увлечение до $2 \times 2 = 5$, а с другой стороны, — вражда против всякого $2 \times 2 = 4$. Среди многих разделений образовалось, между прочим, в нашей литературе и такое разделение. Оно должно было образоваться, и столкновение между двумя его сторонами было неизбежно и неизбежно будет повторяться».

Однако не нужно думать, что последующий переход самого Достоевского к ожесточенной полемике есть результат влияния Страхова. Процесс борьбы захватывал Достоевского, и в полемическом гневе он доходил до таких крайностей, которые уравновешенному Страхову были неведомы. «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная, — признавался Достоевский А. Н. Майкову в письме 28/16 августа 1867 г. — Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил»²⁷. Конечно, полемический азарт Достоевского объяснялся не только его темпераментом, он был продиктован тревогой, как бы ошибочные теории не принесли непоправимого вреда общественному движению, русскому народу. Но и в тех случаях,

когда Достоевский писал в стиле памфлета, его властно тянуло заняться другим — глубоким психологическим исследованием. Об этом, на наш взгляд, выразительно свидетельствует творческая история «Бесов»²⁸. Внимательного читателя Достоевского не может удивлять его переход от «Бесов» к «Подростку», от изображения нечаевцев в романе к тому, что написано на эту тему в «Дневнике писателя» 1873 г. Страхова раздражала эта двойственность, он видел в ней лишь дурное противоречие и даже желание подыграть молодому поколению. Салтыков и вслед за ним вся редакция «Отечественных записок» в начале 70-х годов поняли Достоевского лучше, увидев, что главный смысл его произведений заключается в поисках истины, «сущности вещей» и что негодование часто мешает ему «отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается рождение нового явления»²⁹. Салтыков отмечал, что «дешевое глумление над нигилизмом» противоречит главной «творческой силе» Достоевского — «высокой художественной прозорливости».

Обязанность писателя обладать такой прозорливостью, внимательно изучать логику чужой мысли, ища и в ней зерно истины, отстаивал Достоевский перед Страховым как основу своего творческого метода.

Страхов прекрасно понял, что суть разногласий между ним и Достоевским восходит к самой краеугольной и, как сказал бы Достоевский, капитальной проблеме: об отношении к природе человека. Здесь Страхов высказался весь и тем самым очень точно определил противоположное убеждение Достоевского. «Разве хорош человек? — восклицает Страхов. — Разве мы можем смело отвергать его гнусность? Едва ли! Каких бы мнений мы ни держались, когда дело идет об этом вопросе, в нас невольно отзовутся глубокие струны, с младенчества настроенные известным образом. Все мы воспитаны на Библии, все мы христиане, вольно или невольно, сознательно или бессознательно. Идеал прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не может умереть в нашей душе; он навсегда сросся с нею. И потому, когда перед нами развернут картину современного человечества и спросят нас, хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: „Нет, гнусен до последней степени“». «Остается сказать еще одно, — заявляет Страхов в заключение: — я не верю ни в философию, ни в экономию, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому что я не верю в человека».

Вот самая важная причина, заставившая Достоевского объявить, что есть в убеждениях Страхова нечто, что он будет ненавидеть, презирать и преследовать всю свою жизнь. Христианство без веры в человека представлялось Достоевскому жестоким и оскорбительным, что он позднее покажет в системе Великого инквизитора. Достоевский был художником, который в своих произведениях постоянно разворачивал «картину современного человечества»; в отличие от Страхова на вопрос «хорош ли человек» он затруднялся ответить «тотчас». Но с самой юности, вдохновленной идеалами утопического социализма, и до конца дней Достоевский сохранял веру в человека. Иначе, говоря словами его героя, он бы «истребил себя».

Страхов, спокойно прокламирующий презрение к человеку, был идейным антагонистом Достоевского в гораздо большей мере, чем революционные демократы, хотя и выступал в качестве его союзника. От рассуждений Страхова веяло ненавистным Достоевскому схематизмом отвлеченной мысли, пренебрежением к живым интересам человека. Такие взгляды и некоторые неприятные психологические черты (честолюбие, завистливость и одновременно поклонение славе) Достоевский обычно приписывал «семинаристам». «Семинаристом» впоследствии назовет он и Страхова.

Страхов, не верящий в человека, а значит и в народ, должен был казаться Достоевскому *почвенником без почвы*.

Разногласия Достоевского и Страхова не повлияли на их сотрудничество, оно продолжалось. Вероятно, уступая редактору журнала, Страхов в статье «Тяжелое время» («Время», 1862, № 10) пишет о человеческой природе совершенно в его духе: «...Тот оскорбляет человеческую природу, кто воображает, что можно устроить благополучное человеческое общество без содействия его сознания и свободы»³⁰.

Страхов писал в «Воспоминаниях», что впервые разошелся с Достоевским из-за денежных неприятностей после закрытия «Эпохи». На самом деле отношения еще

задолго до этого стали трудными. 25 июня 1864 г. Страхов писал брату: «С Достоевскими я чем дальше, тем больше расхожусь. Федор ужасно самолюбив и себялюбив, хотя и не замечает этого»³¹. Дружеские связи оживились, как считал Достоевский, после выхода в свет «Преступления и наказания».

В годы пребывания Достоевского за границей (1867—1871) Страхов и Аполлон Майков были самыми регулярными и идейно близкими его корреспондентами. Однако по возвращении писателя на родину многое изменилось. Первоначальная причина расхождения между Достоевским и Страховым не вполне ясна, но сам Страхов свидетельствует об этом разладе недвусмысленно: «Редакция „Гражданина“ была предложена Федору Михайловичу князем Вл. П. Мещерским <...> Со своей стороны, несмотря на несколько охладившиеся отношения, я считал долгом усердно писать тогда в „Гражданине“, в котором, впрочем, был сотрудником с самого его начала»³².

Очевидно в это время духовное общение между Достоевским и Страховым прекратилось совсем, поскольку даже об обстоятельствах, при которых Достоевский стал редактором «Гражданина», Страхов принужден был узнавать от третьих лиц: «Судя по рассказам, он принял на себя редакторство впопыхах, не подумавши», — сообщал Страхов Н. Я. Данилевскому 11 июня 1873 г.³³ А вот письмо тому же адресату 6 января 1874 г.: «Несчастный Достоевский совсем измучился. Я его очень ценю и многое ему прощаю, но при его теперешней раздражительности просто избегаю с ним видеться»³⁴. Некоторые причины недовольства Достоевского названы в письме к нему Страхова 30 января 1874 г.: «...Не вздумайте винить меня в лени, бессердечии апатии и неблагодарности; право, я стараюсь вести себя хорошо и отношусь вашим искренне преданным и глубоко уважающим. Н. Страхов»³⁵.

В это же время Достоевский внес в тетрадь едкую характеристику Страхова как «затолстевшего человека»: «Если не *затолстеет*, как Страхов» (стр. 312).

Решение Достоевского передать новый роман («Подросток») в «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова, в журнал, по адресу которого он изливал столько злой иронии в своих письмах из-за границы, еще более отдалило его от Страхова. Но здесь Страхов почувствовал возможность «взять реванш» и выразить Достоевскому свою неприязнь как отступнику. Осуждал Достоевского и Майков.

6 февраля 1875 г. Достоевский так описывал жене свои впечатления от визита к Майкову: «Он же встретил меня по-видимому радушно, но сейчас же увидал я, что сильно со складкой. Вышел и Страхов. Об романе моем ни слова и, видимо, не желая меня *огорчать*. Об романе Толстого тоже говорили немного, но то, что сказали — выговорили до смешного восторженно. Я было заговорил насчет того, что если Толстой напечатал в „Отечественных“ записках“, то почему же обвиняют меня, но Майков сморщился и перебил разговор, но я не настаивал. Одним словом я вижу, что тут что-то происходит и именно то, что мы говорили с тобой, т. е. Майков распространял эту идею обо мне. Когда я уходил, то Страхов стал говорить, что вероятно я еще зайду к Майкову и мы увидимся, но Майков, бывший тут, ни словом не выразился, что ему бы приятно видеть меня. Когда я Страхову сказал, чтоб он приходил ко мне в Знаменскую гостиницу вечером чай пить в пятницу, то он сказал: вот мы с Аполлоном Ник. и придем, но Майков тотчас отказался...»³⁶ В другом письме, 11 февраля, Достоевский продолжает: «был <...> вечером у Страхова. Страхов знает о моем неудовольствии на Майкова, и, кажется, передал ему, потому что Майков прислал мне письмо и приглашает сегодня во вторник к себе обедать. Но я еще вчера вечером его видел у Страхова. Было очень дружелюбно, но не нравятся они мне оба, а душе не нравится мне и сам Страхов, они оба со складкой»³⁷. На следующий день Достоевский опять возвращается к этой неприятной теме: «Я Страхову у Корпилова выразил часть моей мысли, что Майков встретил меня слишком холодно, так что я думаю, что он сердится, ну а мне все равно. — Страхов тогда же пригласил меня к себе в понедельник, а приглашительное письмо Майкова было вследствие того, что Страхов ему передал обо мне. Майков, Анна Ивановна (жена Майкова. — Л. Р.) и все были очень милы, но зато Страхов был почему-то со мной со складкой. Да и Майков, когда стал расспрашивать о Некрасове и когда я рассказал комплименты мне Некрасова, — сделал грустный вид, а Страхов так совсем холодный. Нет, Аня, это скверный

семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением „Эпохи“, и прибежал только после успеха „Преступления и наказания“. Майков несравненно лучше, он подосаждает, да и опять сблизится и все же хороший человек, а не семинарист»³⁸. Эта характеристика Страхова отдаленно предвосхищает то, что Достоевский написал почти через два года.

Отзыв о Страхове в записной тетради касается не только личных его качеств, но и литературной деятельности. Отзыв желчный, презрительный, уничтожающий.

«Н. Н. С. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе „Жених“, об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил *обняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычайно обидчивыми. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь» (стр. 619—620). «Кушать сладко и сидеть на мягком» — на языке Достоевского — привычная формула для обозначения буржуазной сытости и душевной успокоенности. Ср. в той же «Записной тетради»: «Развлечен(не): Жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком» (стр. 610). В декабрьском выпуске «Дневника писателя» Достоевский, говоря о людях, чьи главные интересы сводятся к удовлетворению плотских потребностей, буквально повторяет эти слова: «О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будут привлекать человека к земле, но не в высших типах его».

Достоевский утверждает, что главный двигатель тщеславия Страхова — это воспоминания о четырех скученных брошюрках и многих «обняковых критиках», да еще два казенные места. Достоевский как будто вовсе забыл, как высоко отзывался он об этих брошюрках и «критиках» Страхова в письмах к нему несколько лет назад: «Вы в эти два-три года почти молчания вашего сильно выиграли, Николай Николаевич. (Имеется в виду период после закрытия «Эпохи» до появления журнала «Заря», который редактировал Страхов. — Л. Р.) Это мое мнение, судя по вашим „Бедность“ (брошюра «Бедность нашей литературы», 1867. — Л. Р.) и статье в „Заре“. Я всегда любовался на ясность вашего изложения и на последовательность; но теперь, по-моему, вы стоите несравненно крепче. Жаль, что не „Бедностью“ вы начали в „Заре“, т. е. жалею, что „Бедность“ была напечатана раньше. <...> Кстати, заметили вы один факт в нашей русской критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще непременно как бы опираясь на передового писателя, т. е. как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя <...> Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статьей о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще в юности. Григорьев вышел, разъясняя Островского и сражаясь за него. У вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому с тех самых пор, как я вас знаю. Правда, прочтя статью вашу в „Заре“, я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать, как с Льва Толстого, т. е. с его *последнего сочинения*».

Некоторый элемент заведомого преувеличения в этих словах, конечно, чувствует-ся. Достоевский хочет быть беспристрастным, заглушить свое ревнивое отношение и к Страхову и к автору «Войны и мира», которого он вовсе не считал представителем «нового слова» в той мере, каким был Гоголь. Достоевский упрекает Страхова за некоторую пассивность, отсутствие интереса к полемике, но в целом горячо хвалит его как критика; «Ясно, логично, твердо сознанный мысль, написанная изящно до последней степени.<...> В конце концов я считаю вас за единственного представителя нашей теперешней критики которому принадлежит будущее.<...> Вы должны непре-

менно написать в год три или четыре большие статьи...»³⁹ И, наконец, Достоевский признается Страхову: «Вы один из людей, насильнейше отразившихся в моей жизни, и я вас искренно люблю и вам сочувствую»⁴⁰.

В характере Достоевского не удивляют такие поистине поразительные контрасты. Достаточно вспомнить, как резко менялось на протяжении трех десятилетий его отношение к Белинскому, не только к идеям Белинского, что нетрудно понять в свете эволюции самого Достоевского, но именно к его личности. Охваченный враждебным отношением к Страхову, Достоевский как бы зачеркивает все доброе в прошлом как нелепость, как заблуждение. Вот его заключительные слова о Страхове в записи 1877 г.:

«Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» (стр. 620). Значит, у Достоевского было намерение изобличить Страхова — как некий литературный тип, общественную фигуру, поговорить о подобных лицах в «Дневнике писателя». Желание это высказано весьма энергично.

Трудно не заметить, что кое-что в этой оценке напоминает слова Страхова о Достоевском в печально-памятном письме его к Толстому: «Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. <...> Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. <...> Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес между обыкновенными людьми, и всего хуже, что он этим услаждался, что он никогда не калялся до конца во всех своих пакостях. <...> Заметьте при этом, что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов в „Преступлении и наказании“ и Ставрогин в „Бесах“; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Д(остоевский) здесь ее читал многим»⁴¹.

Вполне вероятно, что именно в то время, когда Катков, ссылаясь на соображения моральные, отказался печатать в «Русском вестнике» десятую главу «Бесов» («исповедь Ставрогина») из-за эпизода с растлением малолетней девочки, а Достоевский, несогласный с обвинением в безнравственности, «читал ее многим», возникла версия об автобиографичности этого сюжета. По уверению Страхова, Висковатов будто бы слышал признание самого Достоевского. А вместе с тем в той же записной тетради Достоевский сделал заметки, свидетельствующие о желании выступить в печати с объяснением характера Ставрогина, указать на связь его духовной опустошенности с самым тяжким из преступлений. Говоря о «грязном поступке» Ставрогина, Достоевский решительно отвергает рассуждения о «грязи» самого автора, которую якобы «поправляет „Русский вестник“». «В „Подростке“ находил Ав(сеенко) грязь. Это в рассказе-то матери. Неправдоподобность, но это снято с истинного происшествия. Это после-то сыщика и двух девиц. Это после-то повторившейся в Москве истории с дамой, на Сенной две дамы. Возвестил, что „Русский вестник“ поправлял мою грязь. Я не отвечал. Этого не было. Из каких источников. Ставрогин (неверующий, и торжество новой жизни, укор одного грязного поступка)» (стр. 555—556).

Если Достоевскому довелось узнать (а это вполне могло случиться), что в разговорах о «грязи» принимал участие и Страхов, его недавний друг, то становятся понятны-

ми гневные слова писателя: «он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все». Отзыв Достоевского звучит пророчески, как бы предостерегая каждого, кто захочет довериться будущим наветам Страхова.

Можно предположить, что Страхов видел эту запись Достоевского. В то время, когда готовился первый том посмертного собрания сочинений писателя, Анна Григорьевна Достоевская предоставила ему и О. Ф. Миллеру возможность ознакомиться со многими материалами архива писателя. Было решено издать большую часть последней тетради Достоевского, просматривались, видимо, и другие тетради. Об этом косвенно говорит и следующая фраза из «Воспоминаний» Страхова: «В одной из его (Достоевского. — Л. Р.) записных книг сохранился листок...»⁴² и т. д. Страхов, который был далек от Достоевского в последние годы жизни, вероятно, особенно интересовался его записями, сделанными для себя. То, что А. Г. Достоевская не заметила антистраховской записи Достоевского ни в то время, ни даже впоследствии, — совершенно очевидно, иначе она каким-нибудь образом упомянула бы о ней в заявлении по поводу письма Страхова Толстому. Но как знать, не попалась ли эта страница на глаза самому Страхову и не потому ли, в частности, он писал «Воспоминания» о Достоевском, борясь с «подымавшимся отвращением», стараясь «подавить в себе дурное чувство»?

То, что письмо к Толстому написано Страховым не в порыве горького чувства, а было результатом заранее продуманного намерения, доказывает запись, сделанная им на отдельном листе под заглавием: «Для себя». Она почти текстуально совпадает с началом письма к Толстому: «Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу. Для себя мне хочется однако формулировать ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием»⁴³.

Страхов, конечно, понимал, что со временем не только последняя тетрадь Достоевского, но и все остальные будут опубликованы. Знал он также, что когда-нибудь будет издана и переписка Льва Толстого. Быть может, и эту мысль отчасти имел он в виду, направляя письмо Толстому, своеобразный «ответ» Достоевскому.

Рассматривая запись Достоевского о Страхове, важно подчеркнуть, что ее «личное» содержание неуклонно возводится к общественному. Страхов изображен как тип литератора-семинариста, как явление почти нарицательное. С этой темой внутренние связашы и следующие наброски Достоевского о психологии семинариста (стр. 622).

В БОРЬБЕ С ТЯЖКИМ НЕДУГОМ

Даже в таких сугубо интимных записях, как перечень и описание эпилептических припадков Достоевского, обнаруживаются «выходы» в общую, литературную тему. Достоевский систематически записывал дни и часы припадков, свое самочувствие при этом, отмечал влияние погоды и т. д.

Необычайную силу духа проявляет Достоевский в эти минуты. Превозмогая жестокую физическую боль, он при первой же возможности возвращается к работе, подвергает внимательному самоконтролю все свои поступки и душевные движения. Если учесть, что иногда припадки учащались настолько, что их приходилось ждать каждую неделю, можно понять, какую истинно-героическую жизнь вел Достоевский. Вот характерная запись (1875 г.): «8 апреля. Припад<ок> в $1\frac{1}{2}$ первого пополудни. Предчувствовал сильно с вечера, да и вчера. Только что сделал папиросы и хотел сесть, чтоб хоть две странички написать романа, как *помню* полетел, ходя среди комнаты. Пролежал 40 минут. Очнулся сидя за папиросами, но не делал их. Не помню, как очутилось у меня в руках перо, а пером я разодрал портсигар. Мог заколоться. Всю неделю сырость, нынче (ночью) лишь полнолуние и, кажется, морозец. 8 апреля полнолуние. <...> Голова же болит не так чтобы очень. Теперь почти час после припадка. Пишу

это и сбиваюсь еще в словах. Страх смерти начинает уже проходить, но есть все еще чрезвычайный, так не смею лечь. Бока болят и ноги. Пошел будить уже 40 минут спустя Аню и удивился, услышав от Лукерьи, что барыня уехала. Подробно расспрашивал Лукерью, когда и зачем она уехала. За полчаса до припадка принял *orîi ben-zoedi*: 40 капель с водою. Во время полного бесспамятства, т. е. уже встав с полу, сидел и набивал папиросы, и по счету набил их 4, но не аккуратно, а в последние две папиросы почувствовал сильную головную боль, но долго не мог понять, что со мною, пока не пошел к Лукерье» (стр. 350). Такие состояния Достоевский считал еще сравнительно легкими, так характеризует он второй припадок князя Мышкина, случившийся в вечернем собрании на даче Епанчиных: «Припадок, бывший с ним накануне, был из легких; кроме ипохондрии, некоторой тягости в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства. Голова его работала довольно отчетливо, хотя душа и была больна»⁴⁴. Страх смерти, который отмечает в записной тетради Достоевский, есть результат этой «ипохондрии», временной «болезни души». Вообще же Достоевскому отнюдь не свойственно было это чувство. При страстной, «карамазовской» жажде жизни, при опасной болезни, которая ежечасно грозила катастрофой, Достоевский, в отличие от Толстого, не испытывал мучительного страха смерти. Не случайно эта тема почти не присутствует в его произведениях, столь богатых вечными мировыми проблемами. Если в конце 70-х годов Достоевский, думая о близости конца, с тревогой спрашивает врачей: скоро ли, то только потому, что боится оставить необеспеченными малолетних детей, — понятная забота бедняка! 10 марта 1876 г. он писал брату Андрею Михайловичу: «Моя же <семья> так мала, что и не знаю, что будет. Чрезвычайно бы хотелось прожить лет хоть 7 еще, чтобы хоть немного ее устроить и поставить на ноги. Да и мысль, что детки мои будут помнить мое лицо, по смерти моей, была бы мне очень приятна»⁴⁵. После визита к врачу в Эмсе Достоевский успокаивал Анну Григорьевну: «Затем на мой усиленный вопрос, сказал, что смерть еще далеко, и что я еще долго проживу, но что, конечно, петербургский климат, — надобно брать предосторожности и т. д. и т. д.»⁴⁶ И в другом письме: «Все это, милый мой ангел, пишу тебе в такой подробности, чтоб ты за меня не беспокоилась (что видно из письма твоего): все, стало быть, по-старому; болезнь хоть не пройдет, но будет действовать медленно, разумеется, при некоторых мерах всегда иметь предосторожности»⁴⁷.

Через три года Достоевский, находясь в Эмсе на лечении, где обычно бывал в подавленном настроении, писал Победоносцеву: «Здесь я уже 3-ю неделю лечусь и не знаю, что будет, между тем при нашем курсе поездка обошлась мне в 700 руб., которые очень и очень могли бы быть сохранены для семейства, я здесь сижу и беспрерывно думаю о том, что, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что станет с тремя золотыми для меня головками после меня?»⁴⁸ От Победоносцева был получен холодный наставительный ответ: «А что Вы пишете о детях: что с ними станет? На это я скажу Вам — а почему вы знаете, что с ними станет, когда Вы будете живы? Кто из нас, сколько ни заботься, может прибавить себе росту на один локоть? И от чего Вы убережете их, если бог не убережет? Будут терпеть? Но и при Вас разве нет терпения? И Вы сами разве не терпели? И всякому разве не положено терпеть? Предоставьте их богу и себя не смущайте. Мир во зле лежит и полон злых людей, но есть и добрые — их бог посылает в нужную минуту. Не говорю — к чему заботиться, чего опасаться? Но говорю — смерти из-за того не стоит трепетать, что малые дети останутся. И мать у них есть, мать попечительная, а впрочем бог всем отец и все ведает, что неведомо никому»⁴⁹. И хотя Достоевский в общем разделял эти мысли, сам он никогда не был бы способен ответить на душевную боль человека подобной церковнической проповедью. Здесь, как и во многом другом, лежит бездна между Достоевским и Победоносцевым.

Итак, только при мысли о будущем семьи или в болезненном состоянии сразу же после припадков Достоевский испытывал страх смерти. Записи о припадках, которые Достоевский вел в строго хронологическом порядке, мы можем сопоставить с другими фактами его биографии, — и увидим редкую самоотверженность человека, всегда готового забыть о собственном страдании во имя того большого литературного дела, которому посвящена его жизнь. Исследователи обращали внимание на особенную важ-

ность для концепции «Братьев Карамазовых» письма Достоевского к В. А. Алексееву 7 июня 1876 г. В этом письме сформулированы основные проблемы «поэмы» о «Великом инквизиторе»: «В искушении дьявола слились три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее, т. е. мудренее этих идей нет и их все еще не могут решить...»⁵⁰ Письмо Алексеева, вызванное статьей «Дневника писателя» о самоубийстве Писаревой (май 1876 г.) и датированное 3 июня, было получено Достоевским накануне припадка, случившегося 6 июня. В тетради Достоевского находим такую запись: «Июня 6-го из средних, утром, во сне». «Из средних», — следовательно более сильный, чем тот, так называемый «легкий», а на самом деле достаточно серьезный, который описан 8 апреля (см. стр. 625). Но уже 7 июня, т. е. на другой день, Достоевский пишет Алексееву обширное философское письмо, которое начинается извинением за задержку ответа: «Извините, что отвечаю только сегодня на письмо Ваше от 3-го июня, но был нездоров припадком падучей болезни»⁵¹. 19 февраля 1877 г., судя по заметке в тетради (стр. 625), Достоевский перенес тяжелый припадок, но через день, 21 февраля, он уже вновь занят «Дневником писателя» и посылает прошение в Главное управление по делам печати: «Продолжая уже второй год издание книги моей „Дневник писателя“, которую я пишу один без сотрудников ежемесячными выпусками, по подписке, имею честь покорнейше просить Главное управление по делам печати разрешить мне издавать оную книжку под тем же заглавием, в те же сроки и в том же объеме, впредь без предварительной цензуры». В публикуемых тетрадях Достоевского отмечены припадки 8 октября 1874 г. и 11 января 1875 г. (стр. 349). Просматривая черновые записи к «Подростку», мы видим, что уже 9 октября (т. е. на следующий день) и 13 января писатель продолжал свою интенсивную творческую работу «как ни в чем не бывало»⁵². Так иногда самые интимные заметки в тетрадях, соприкасаясь с фактами литературного значения, рисуют жизнь Достоевского во всей ее сложности, в непрерывной смене «испытаний» и «преодолений», которые наполняли ее до краев.

А. С. Суворин, хорошо знавший Достоевского в последние годы и однажды видевший его сразу после припадка, писал: «Конечно, мы все знаем, что когда-нибудь умрем, что, может быть, завтра умрем, но это общее положение: оно не страшит нас или страшит только во время какой-нибудь опасности. У Достоевского эта опасность всегда присутствовала, он постоянно был как бы накануне смерти: каждое дело, которое он затевал, каждый труд, любимая идея, любимый образ, выстраданный и совсем сложившийся в голове, — все это могло прерваться одним ударом. Сверх обыкновенных болезней, сверх обыкновенных случаев смерти, у него был еще свой случай, своя специальная болезнь; привыкнуть к ней почти невозможно — так ужасны ее припадки. Умереть в судорогах, в беспмятстве, умереть в пять минут — надобна большая воля, чтоб под этой постоянной угрозой так работать, как работал он»⁵³.

ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО И ОБРАЗ АВТОРА В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ»

Внутренняя связь между дневниковым и творческим, литературным материалом в записных тетрадях способствовала возникновению того нерасторжимого единства личного и общего, которым отличается жанр «Дневника писателя», созданный Достоевским в 70-е годы. До «Дневника» тоже появлялись статьи, написанные Достоевским от первого лица. Но это авторское «я» другого рода. В предшествующей публицистике Достоевского мы встречаемся с двумя типами повествования от первого лица. Один из них назовем условно собственно-публицистическим: «я сейчас говорил о чистосердечии. Я совершенно уверен... и т. д.» («Свисток» и «Русский вестник», 1861), «Я действительно смеялся (кроме шуток)... Извините, молодой рецензент, но у меня болит сердце» («Молодое перо», 1863 г.), «Я хочу вас изобличить. Я хочу выставить всему свету: кто вы и какой вы именно деятель в отечественной словесности...» («Опять „Молодое перо“», 1863 г.), «Я понимаю, что можно смеяться над болезнью какого-нибудь больного человека...» («Необходимое заявление», 1864 г.), «Я решительно вступаю против одного старинного и укоренившегося в русской литературе предрассуд-

ка насчет А. А. Краевского...) («Каламбуры в жизни и литературе», 1864 г.). Наряду с этим Достоевским написаны статьи, где употребляется авторское «мы» («Г.—бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», «Последние литературные явления. Газета „День“ — 1861 г., «Два лагеря теоретиков» — 1862 г., «Необходимое литературное объяснение, по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» — 1863 г. и ряд других).

Разница между авторским «я» и авторским «мы» здесь существует, но она настолько невелика, что статья «Щекотливый вопрос» начинается с «мы» («Мы тоже с крайним любопытством прочли...»), а заканчивается авторским «я» («Это наводит меня на мысль, что я, может быть, действительно, вижу сон»). Потребность выступать от первого лица появилась у Достоевского в 1863—1864 гг. во время полемики со Щедриным, острой, полной личных нападок. За исключением отдельных мест, где Достоевский говорит о себе самом, в частности, о своей болезни, поскольку о ней упоминали критики «Современника», во всех других случаях его авторское «я» — голос публициста, выражающего определенную позицию, и только. Образа автора как человека со своим характером и судьбой в статьях Достоевского 60-х годов еще нет.

Другой тип повествователя от первого лица в публицистике до «Дневника писателя» — это автор, несколько стилизованный под героя Достоевского (таков он в «Петербургской летописи» 1847 г., в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» 1861 г., в «Зимних заметках о летних впечатлениях» 1863 г.).

Только в «Дневнике писателя» Достоевский предстает как живой конкретный человек со всеми событиями большой и трудной жизни, начиная от картин детства и кончая визитом к больному Некрасову, от «Старых воспоминаний» до сегодняшних впечатлений.

Издание «Записная книга», которое было задумано еще в 60-е годы, после закрытия «Эпохи» (см. стр. 226) предвляло «Дневник писателя», вероятно, лишь в том смысле, что должно было стать журналом лично Достоевского, без других сотрудников. Но судя по намеченному проспекту: 6 листов (3 листа романа и 3 — публицистики), «Записная книга» мыслилась как издание, где печатались одновременно статьи и художественные произведения, не составляя при этом какого-то нового жанра. Само название «Записная книга», быть может, связано было с представлением Достоевского о своей «Записной тетради» (там находились рядом рукописи статей и романов).

Достоевский очень ясно осознавал, что говорить в печати о себе самом он начал только с «Дневника писателя» 1873 г. Вслед за статьей «Старые люди», где речь шла о встречах с Белинским («Гражданин», № 1, 1 января), появилась статья «Нечто личное» (№ 3, 15 января). В ней Достоевский делает такое важное признание: «Теперь, в эту минуту, я всего во второй раз, в двадцать семь лет моей литературной деятельности, говорю о себе лично»⁵⁴. Известно, что художественное творчество Достоевского насыщено личными, даже глубоко интимными мотивами. Не говоря уже о рассказчике в «Записках из Мертвого дома» или в «Униженных и оскорбленных», даже в таких разных героях, как Мышкин и Ставрогин, есть нечто авторское («Я из сердца взял его», — сказано о Ставрогине)⁵⁵. Прототипами многих героинь: Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании», Полины в «Игроке», Настасьи Филипповны в «Идиоте» были женщины, близкие Достоевскому. Следует отметить, в какой мере полно осуществлялся этот принцип. Можно сказать без преувеличения, что в процессе творчества Достоевский отдавал своим созданиям решительно весь опыт собственной жизни, не оставляя ничего сокровенного, к чему не могло бы прикоснуться его художественное воображение. Его, видимо, не смущало, что в мире, созданном его фантазией, обстоятельства его собственной судьбы приобретут какой-то чуждый им смысл и что такое превращение могло бы оскорбить его воспоминания. В момент творчества Достоевский жил только в мире создаваемого произведения, и все, что сохранила память его сердца за целую жизнь, принадлежало этому миру вполне и до конца. Вспомним гротескный, сатирический рассказ «Бобок», герой которого «ходил развлекаться, попал на похороны». Вот он прогуливается по кладбищу, осматривает могилы: «Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. <...> Я нагнулся и прочел надпись на памятнике: „Здесь покоится тело генерал-майора Перводова... таких-то и таких

орденов кавалера. Гм. Скончался в августе сего года... пятидесяти семл... Покойся, милый прах, до радостного утра!"⁵⁶ Но ведь эти последние слова — надпись на могиле матери Достоевского, горячо им любимой и почитаемой! Надпись, взятая из Карамзина, была выбрана самим Федором Михайловичем вместе с братом М. М. Достоевским. В воспоминаниях младшего брата, А. М. Достоевского, читаем: «Отец, по возвращении своем из Петербурга, намеревался совсем переселиться в деревню (он подал уже в отставку), а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле нашей матери. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы было только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: „Покойся, милый прах, до радостного утра“. И эта прекрасная надпись была исполнена»⁵⁷.

Но если многое из биографии Достоевского уже давно стало предметом художественного изображения в его сочинениях, то непосредственно о себе самом он начал говорить лишь в «Дневнике писателя». Объясняется это тем, что именно в 70-е годы, особенно во второй половине, и чем дальше тем больше, Достоевский стал рассматривать себя как одного из «руководящих писателей» современности. В 1879 г. он писал: «Они (т. е. молодежь. — Л. Р.) объявили уже, что от меня одного ждут искреннего и симпатичного слова и что меня одного считают своим *руководящим писателем*»⁵⁸. Достоевский, конечно, заблуждался, преувеличивая успех своей неославнофильской теории у передовой молодежи. «Отечественные записки» по-прежнему оказывали мощное влияние на молодые умы, сохраняя безусловное первенство в этой области. Вместе с тем читательский интерес к Достоевскому, его популярность были действительно очень велики. Однако передовую молодежь привлекала не проповедь примирения сословий и политических партий, не идея о будущей мессианской роли православной России, а прежде всего — горячая постановка самых острых проблем общественной жизни, высокий моральный пафос «Дневника писателя». Особенно притягивала личность самого автора — бывшего революционера и каторжника, гениального художника-гуманиста, защитника униженных и оскорбленных, который сам объявлял, что считает себя всех либеральнее, так как не желает успокаиваться. За этим человеком признавалось право быть учителем, обращаться к обществу со словом судьи и гражданина. Писательница Е. П. Леткова-Султанова, примыкавшая к революционным народникам, так вспоминает о своей встрече с Достоевским: «И я забыла про различие направлений и политических идеалов, о которых так много говорилось у нас на Высших курсах среди молодежи, забыла о „Бесах“, которых мы все ненавидели. Я сознавала только, что передо мной стоял *Достоевский*»⁵⁹. Сам же Достоевский иногда, особенно в последние годы жизни, склонен был рассматривать успех у молодежи как победу своего политического направления.

13 сентября 1879 г. он писал Победоносцеву: «Мое литературное положение (я вам никогда не говорил об этом) считаю я почти феноменальным: как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки „Бесами“, т. е. ретроградством и обскурантизмом — как этот человек, помимо всех европействующих, их журналов, газет, критиков — все-таки признан молодежью нашей, вот эту самую расшатанную молодежью, нигилистиной и проч.? Мне уж это заявлено ими из многих мест, единичными заявлениями и целыми корпорациями»⁶⁰.

В центре «Дневника писателя» — образ автора, который внимательно собирает и анализирует многочисленные и разрозненные факты быстротекущей жизни, стараясь найти в них характерные приметы времени. Еще в заключении романа «Подросток» Достоевский назвал себя писателем, одержимым «тоской по текущему». Задумав новый роман (будущих «Братьев Карамазовых»), он, по его собственным словам, с помощью «Дневника» стремился сблизиться с молодым поколением, глубже понять его духовные искания: «... готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение — не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем для меня, например, молодое поколение и вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как двадцать лет назад. Но есть и еще многое кроме того. Имея 53 года, можно легко отстать от поколения при

первой небрежности»⁶¹. Достоевский был дорог молодежи этой близостью ее кровным интересам. С молодым поколением его психологически роднило ощущение нерешенности самых важных проблем в жизни отдельного человека и всего человечества и желание самому, сейчас же, искать их решение. Редко кому удавалось пройти такой мучительный путь, какой прошел Достоевский, и не почувствовать душевной усталости. «...Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо,— писал будущий автор «Карамазовых»,— люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет (Достоевскому в этот момент было уже 52 года.— Л. Р.), а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть и деятельности»⁶².

Именно в это время, в 1873 г., Достоевский почувствовал, что его жизненный опыт, все сделанное в литературе дают ему моральное право апеллировать к этому опыту в публицистических выступлениях. Если прежде душевную исповедь Достоевского можно было найти в письмах, записных тетрадях, а в творчески преобразованном виде — в художественных произведениях, то теперь она становится неотъемлемой частью нового публицистического жанра, названного «Дневник писателя»: «Я не летописец: это, напротив, совершенный дневник в полном смысле слова, т. е. отчет о том, что наиболее меня заинтересовало лично»⁶³; «Я пишу дневник, дневник отчасти личных моих впечатлений»⁶⁴.

Но эти «личные впечатления» Достоевский считал поучительными для нового поколения по многим причинам: ученик Белинского и представитель той плеяды замечательных литературных талантов, которые начинали в натуральной школе (Некрасов, Тургенев, Салтыков, Гончаров, Островский), революционер 40-х годов, приговоренный к смертной казни, проведший четыре года в сибирской каторжной тюрьме и столько же — на солдатской службе, узнавший таким образом народную жизнь и людей из народа в ежедневном общении, переживший глубокий кризис политических взглядов, но оставшийся убежденным демократом, активный участник журнальной борьбы 60-х годов, редактор и публицист, а главное истинно современный художник, раскрывающий «глубины души человеческой» в «наше смущенное время»⁶⁵, — таким рисуется образ автора в «Дневнике». Он мыслит себя представителем сложного общественного и литературного развития в России за три десятилетия. Потому так постоянно и естественно в процессе обсуждения самых горячих вопросов современности Достоевский переходит к рассказу о себе. Дело не только в том, что в «Дневник» включены целые биографические главы: «Старые люди», «Нечто личное», «Одна из современных фальшей» (1873 г.), «Одно слово по поводу моей биографии», «Мужик Марей», «За умершего» (1876 г.), «Русская сатира. Старые воспоминания», «История глагола „стусеиваться“» (1877 г.). «Биографизмом» проникнуто все повествование «Дневника»: «Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие...»⁶⁶. «Я на днях мечтал, например, о положении России...»⁶⁷. «Я люблю <...> присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим <...> Вот маленькая трехлетняя девочка спит к матери <...> Я подошел и учтиво осведомился, сколько девочке лет <...> Я сказал, что и у меня такая же девочка...»⁶⁸ «Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках, в продолжение двух часов дороги»⁶⁹. «Я был в колонии малолетних преступников, что за пороховыми заводами. Я давно порывался туда, но не удавалось, а тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые мне вызвались все показать»⁷⁰. «Я сам испытал это ощущение, когда однажды, редактируя одну газету, вдруг нечаянно, по недосмотру (что со всеми случается), пропустил одно известие...»⁷¹. «Эту излишнюю „отзывчивость“ Белинский, в одном разговоре со мной, назвал „блудодействием таланта“ и презирал ее очень»⁷². «В детстве моем, в деревне, я знал одного дворового мальчишку...»⁷³ и так далее, постоянно.

Наряду с «открыто»-биографическими признаниями, есть много страниц в «Дневнике», где Достоевский пишет о своем, личном, не объявляя об этом прямо. Полемизируя с доводами адвоката Спассовича, который в судебном деле Кронеберга стремился оправдать отца, истязавшего семилетнюю дочь, Достоевский говорит: «Ну что ж из того, что она, может быть, даже и поиграла на другой день, еще с сине-багровыми пятнами на теле. Я видел пятилетнего мальчика, почти умиравшего от скарлатины,

в полном бессилии и изнеможении, а между тем он лепетал о том, что ему купят обещанную собачку, и попросил принести ему все его игрушки и поставить у постельки: „хоть погляжу на них“⁷⁴. Пятилетний мальчик — это, конечно, сын Достоевского Федор, родившийся в 1871 г., а в декабре 1875 г. перенесший тяжелую скарлатину. И еще, в том же контексте: «Я вам расскажу один маленький анекдот, г. защитник. Сидит за столом отец, добывающий деньги тяжелым трудом. Он сочинитель, так же как и я, он пишет. Вот он положил перо, и к нему подходит его девочка, дочка, шести лет отроду и начинает говорить ему, чтоб он ей купил новую куклу, а потом коляску <...> — счету не было покупкам <...> Отец слушал с улыбкой:— Ах, Соня, Соня,— сказал он вдруг полушутливо, полугрустно,— накупил бы тебе всего, да негде денег взять; не знаешь ты, как трудно они достаются!»⁷⁵ Здесь описан разговор Достоевского с дочерью Лилей (Любовью Федоровной), которой в это время было как раз шесть лет, но названа она именем другой дочери писателя, умершей в младенчестве, — Сони. По-видимому, в минуту «полушутливых, полугрустных» размышлений о том, как нелегко достаются деньги, рядом с подсчетами расходов Достоевский набросал такие стишки в записной тетради: «Дорого стоят детишки, / Анна Григорьевна, да, / Лилия да оба мальчишки — / Вот она наша беда!» (стр. 630).

Глава «Столетия», сюжет которой, как сообщает автор «Дневника писателя», он взял из рассказа «одной дамы», написана на основе истинного происшествия, случившегося с Анной Григорьевной Достоевской.

В «личной» теме «Дневника» особенно выделяются Достоевским те события прошлого, которые, будучи вехами его собственной жизни, имеют «назидательный» смысл: «Человек <...> уже по самой необходимости склонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания»⁷⁶. Но, конечно, «собственное назидание» в «Дневнике» становилось общественным. Такие «точки» биографии, к которым чаще всего обращается писатель, — годы детства и юности, с немеркнувшей памятью о мужике Марее и фельдъегерской тройке, блестящее вступление в литературу с романом «Бедные люди» и встречи с Белинским, незабываемые минуты «смертного страха» на Семеновском плацу и годы сибирской каторги. Судя по записи в тетради, Достоевский был намерен написать о своем пребывании в Алексеевском равелине и о следствии по делу петрашевцев, но не осуществил замысла, видимо, по цензурным соображениям: «Алексеевский равелин. — Ростовцев, Филиппов <...>. Зачем к „Дневнику писателя“? Как зачем? Мне это снится до сих пор» (стр. 420).

Однако Достоевский совсем не затронул в «Дневнике» важнейшую тему, к которой хотел было обратиться, но не смог. Это — вопрос о том, каким образом изменялись его убеждения после 40-х годов. «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более, что это, может быть, и не так любопытно, да и не идет как-то к фельетонной статье»⁷⁷. После этих слов в статье «Одна из современных фальшей» (1873 г.) Достоевский поставил три строки точек, может быть, символизирующих значительность, но неосуществимость такого рассказа. В записной тетради 1876 г. писатель вновь обращается к этой теме, но уже с других позиций. Он утверждает, что никакого «перерождения» в сущности не было, что основа верований его не изменилась. Под рубрикой «О направлении», опровергая Незнакомца (Суворина), он пишет: «Но вы скажете, теперешний Достоевский и тогдашний не то, но приняв убеждения иные (христианские и несл(вя)нофильские) и соединясь по возможности с нашим народом (еще в каторге я почувствовал разъединение с ним, разбойник многому меня научил), но я нисколько не изменил идеалов моих и верю, но лишь не в кому, а в царство божие. Вам меня не понять, и потому я не объясняюсь точнее, но знайте, что я все-таки „либеральнее вас“ и даже гораздо» (стр. 400). В окончательном тексте «Дневника писателя» из всего этого рассуждения, в высшей степени важного для понимания Достоевского середины 70-х годов, осталось лишь заявление о том, что он считает себя «всех либеральнее».

Только частично воплотился на страницах «Дневника» и другой большой замысел Достоевского — написать литературные воспоминания: «Все это дает мне мысль написать литературные воспоминания мои. Все же я могу кое-что рассказать, ровно

30 лет, как я литератор. Я давно думал, может быть, стану помещать и в „Дневнике“, по главам» (стр. 417). «Я серьезно хочу написать мои записки, но уже написать с полной правдой, но до сих пор боялся затронуть самолюбия <...> Я серьезно хочу написать мои заметки» (стр. 408—409). Летом 1879 г., думая о возобновлении «Дневника писателя» после перерыва, Достоевский писал Е. А. Штакеншнейдер: «По окончании романа уже в будущем году, отвечу разом всем критикам. За 33 года литературной карьеры надобно, наконец, объясниться»⁷⁸. И почти через год — Суворину: «Если сам что-нибудь напишу, то когда-нибудь потом, когда начну мои „Литературные воспоминания“ (а их начну непременно)»⁷⁹.

Дневниковый (и обычно полемический) характер носят заметки Достоевского о своих сочинениях, об оценке их критикой: «„Болезненные произведения“. Но самое здоровье наше есть уже болезнь. И что можете знать вы в здравье?» (стр. 367), «Ф. И. Тютчеву, напротив, казалось „Преступление и наказание“ выше («Отверженных» Гюго. — Л. Р.). Я горячо защищал свое мнение» (стр. 409). Об этом примерно тогда же Достоевский писал Х. Д. Алчевской: «Victor Hugo, которого я высоко ценю как романиста (за что, представьте себе, покойник Ф. Тютчев на меня даже рассердился, сказавши, что „Преступление и наказание“ (мой роман) выше „Misérables“»⁸⁰. Такие записи мелькают постоянно: «Боборыкин о моем лиризме» (стр. 537), «Буренин требует современных типов в литературе, большего вникновения в жизнь <...>. В то же время в „Голосе“ ряд статей о критике и искусстве. А только что появившееся замечательное произведение искусства, моя повесть («Кроткая». — Л. Р.) о ней ни слова» (стр. 604). «В. Меня всегда поддерживала не критика, а публика, кто из критики знает конец „Идиота“ — сцену такой силы, которая не повторялась в литературе. Ну а публика ее знает... и т. д.» (стр. 605). Писатель выражает справедливое недовольство тем, что «Записки из Мертвого дома» иногда воспринимаются лишь как описание острога (стр. 605). Некоторые из этих записей получили отражение в статьях Достоевского, но многие предназначались для себя и сохранились только в рукописи. Все они имеют, разумеется, большой общий интерес, выражая эстетическую концепцию автора.

В письме к Х. Д. Алчевской 9 апреля 1876 г. Достоевский признавался, что «еще не успел уяснить себе форму „Дневника“ <...> Например: у меня 10—15 тем, когда сажусь писать (не меньше). Но темы, которые я излюбил больше, я поневоле откладываю: места займут много, жару много возьмут (дело Кронеберга, например), номеру повредят, будет неразнообразно, мало статей, и вот пишешь не то, что хотел»⁸¹.

Считая форму «Дневника» еще не вполне установившейся, Достоевский все же подчеркивал одно ее безусловное свойство: автор присутствует в повествовании как конкретное лицо, его интересами, его симпатиями и антипатиями, даже его «капризом» определяется выбор тем. «...Это именно относится к „Дневнику“, потому что это все волновало меня», — записывает он в тетради (стр. 401). «И уж, конечно, все это слишком личное и частное, но дело в том, что я пишу иногда мой „Дневник“ не только для публики, но и для себя самого — (вот потому-то, вероятно, в нем иногда и бывают иные как бы шероховатости и неожиданности, т. е. мысли мне совершенно знакомые и длинным порядком во мне выработавшиеся, а читателю кажущиеся совершенно чем-то вдруг выскочившим без связи с предыдущим)»⁸². Разумеется, такое заявление — всего лишь декларация литературного приема, кстати, хорошо знакомого читателям Достоевского еще со времен «Зимних заметок о летних впечатлениях». В «Зимних заметках» многие мысли автора тоже как бы «выскакивали» без внешней связи с предыдущим. Читатель ждет описания заграничных впечатлений, а перед ним возникает критическая статья, он следит за рассуждениями о дворянстве XVIII века, а ему здесь же преподносят факты из современной жизни и даже как будто на другую тему. Наконец, читатель, после неоднократных объявлений автора, хочет уже узнать его впечатления о Париже, но в самое начало рассказа вторгается описание Лондона и т. д. «Да когда же это, господа, я приучусь к порядку», — восклицает автор. В действительности, отсутствие порядка в «Зимних заметках», как впоследствии в «Дневнике писателя», и есть тот единственно нужный Достоевскому порядок, который он специально создает с публицистической целью. Ему нужно захватить читателя,

приковать его внимание к мысли, для которой отдельные сцены и образы служат лишь подтверждением. Но в отличие от «Дневника», как мы уже отмечали раньше, «Зимние заметки» не создают образа автора как живого, конкретного лица. Этот образ очерчен слегка, приблизительно, «намёчно», как выражался Достоевский. Кроме того, он несколько стилизован под героев Достоевского. Отдельные черты автора «Зимних заметок» предвосхищают кое-что в характере «человека из подполья» (у обоих подчеркнута склонность к многословию, раздражительность как следствие болезни и др.). В «Дневнике писателя» образ повествователя многогранен и подлинно автобиографичен. Но и здесь, естественно, сохранялось различие между «Дневником» реальным и литературным, «Дневником» для себя и для читателя. Сам Достоевский вполне осознавал это: «...я слишком наивно думал, что это будет настоящий „Дневник“. Настоящий „Дневник“ почти невозможен, а только показной, для публики», и объяснял причину: «Я встречаю факты и выношу много впечатлений, которыми бываю очень занят, — но как об ином писать? Иногда просто невозможно»⁸³. Мы уже упоминали о двух дорогих для писателя замыслах, которые ему не удалось воплотить (рассказ о перемене убеждений и литературные воспоминания). К ним в большой степени могут быть отнесены слова: «Иногда просто невозможно». По разным причинам «Дневник» «для публики» не включал многие темы, намеченные в «настоящем „Дневнике“», т. е. в «Записных тетрадах».

В тетрадах Достоевского, хотя и фрагментарно, с большими перерывами, запечатлены его идейные искания 60—70-х годов, его эстетические взгляды и вкусы. Сравнительно меньшее место в публикуемых материалах принадлежит черновым записям к художественным произведениям. Но следует иметь в виду, что это особенность не самих тетрадей, а данной публикации, поскольку творческие рукописи к большим романам Достоевского уже напечатаны ранее.

Изучая разнообразный и многоплановый материал черновых тетрадей, нужно очень ясно представить себе, что перед нами не только заготовки к будущим произведениям Достоевского, но в большой степени его дневник. В статье Г. М. Фридляндера справедливо отмечается «предварительность» формулировок Достоевского, часто далеких от своего окончательного вида, поскольку перед нами «лаборатория мысли» писателя (стр. 95). Нам хотелось бы отметить и другое: стиль многих записей, заведомо не рассчитанных на публикацию, носит подчеркнуто интимный, «дневниковый» характер.

II. ДОСТОЕВСКИЙ В ИДЕЙНОЙ ВОРЬБЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ (1860—1881)

Живой процесс идейных исканий писателя в течение двух самых значительных десятилетий его деятельности раскрывают «письменные книги». Противоречия мысли Достоевского, его реальные взаимоотношения с соратниками и противниками оказываются еще более сложными, чем это представлялось прежде. Записи Достоевского дают возможность полнее и конкретнее осознать связь художественных замыслов со всей системой его социально-политических и историко-философских воззрений.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Раскрывая записные тетради Достоевского первой половины 60-х годов, мы сразу же погружаемся в атмосферу взволнованной журнальной полемики, сначала с Чернышевским и Добролюбовым, затем — с Антоновичем и Салтыковым-Щедринным. Хотя в напечатанных статьях Достоевского этого времени большое место принадлежит выступлениям против «англизированного» «Русского вестника» и «доктринеров» из славянофильской газеты «День», записей к этим статьям в книжках очень мало. В одной из них славянофилы характеризуются как нечто вечнославящееся и ограниченное (стр. 186).

Наиболее значительными не только в плане формирования общественной позиции журналов «Время» и «Эпоха», но в духовном развитии самого Достоевского были отношения с «Современником». Продолжительность полемики, резкость оценок объясняются не только отталкиванием, но и притяжением, общностью проблем, которые по-разному решали Достоевский и руководители органа революционной демократии. Известно, что полемика Достоевского с Добролюбовым и тем более с Чернышевским во «Времени» была сдержанной, во многом доброжелательной, что редактор почвеннического журнала не раз и с большим воодушевлением отбивал яростные нападки Каткова на «Современник». С помощью цитат из самого «Русского вестника» Достоевский блестяще показывал, что бывший либерал Катков прочно занял теперь необульгаринскую позицию. «Несчастный, безнравственный „Свисток“! — иронизирует Достоевский. — <...> Взгляни, что ты сделал с „Русским вестником“! Но „Русский вестник“ ополчается и хорошо делает, между прочим, он говорит в заключение: „Мы не откажемся также от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым в изловлении беспутных бродяг и ворешек; но будем заниматься этим искусством не для искусства, а в интересе дела и чести“»⁸⁴. В статье «Ответ „Русскому вестнику“» Достоевский писал: «Клеветать, извращать идею и грубо насмеяться над нею, — это главное средство всех лстецов большинства (имеется в виду консервативная часть общества. — Л. Р.) <...> К этому способу обыкновенно прибегал Фаддей Булгарин с компаниею. Помню тоже, как на театре глумились у нас над прогрессом и тогдашними современными идеями»⁸⁵. Впоследствии Достоевский ставил в заслугу «Времени», что оно «обличало г. Каткова и предрекало ему ново-бульгаринский путь» еще тогда, когда многие «млели перед г. Катковым»⁸⁶. В статье «По поводу элегической заметки „Русского вестника“» Достоевский высмеивал попытки этого журнала опорочить Чернышевского: «Ведь это вас г. Чернышевский разобидел недавно своими „полемическими красотоми“, вот вы и испустили свой элегический плач»⁸⁷. В фельетоне «Щекотливый вопрос» с характерным подзаголовком: «Статья со свистом, с превращениями и переодеваньями» (таким образом, Достоевский сам выступал в качестве «свистуна») выведена сатирическая фигура Каткова, воспевавшего все английское, равно ненавидящего «мальчишек» из «Современника» и почвенников из «Времени». «Замечательно, — говорит он, — что все наше юношество полно скептицизма и недоверия к авторитетам. Это, кажется, закон нашей почвы. Но кому они вверятся, кто заслужит их уважение, за тем они и идут с энтузиазмом. Признаюсь, мне некогда было заслуживать их энтузиазм к моей персоне»⁸⁸. Здесь Катков заодно с Н. Ф. Павловым, тоже в прошлом либералом, а теперь противником Чернышевского. Позднее, в 1863 г., когда «Время» стало нападать на «свистунов», оно противопоставляло им Чернышевского и Добролюбова: «Но, господа, мы вовсе не принимаем вас за Чернышевских и Добролюбовых. Что же касается до справедливой идеи, которую вы прикрываетесь, то надо признаться — это наиболее употребительный в нашей литературе прием»⁸⁹. И далее: «...Чернышевский и Добролюбов были другое дело. Добролюбов особенно: это был человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью и великий боец за правду»⁹⁰.

Характерно, что в данном случае, как и во многих других, Достоевский не забывает напомнить о своих разногласиях с вождями революционной демократии: «Да, „Время“ начало с того, что не соглашалось и даже нападало на Чернышевского и Добролюбова, а они в то время были боги. <...> И мы знали, что делали и на какую опасность шли нашими нападениями на авторитеты. <...> Мы не согласны были с некоторыми уклонениями Добролюбова и с теоретизмом его направления. Он мало уважал народ: он видел в нем одно дурное и не верил в его силы. Мы противоречили ему, а ведь опять-таки тогда он был бог. Вот это так авторитеты!»⁹¹ Действительно, публицистический цикл Достоевского «Ряд статей о русской литературе», которым открывался журнал «Время» (вторая статья «Г.—бов и вопрос об искусстве» помещена в февральском номере 1861 г.) запомнился читателю прежде всего как горячий спор с Добролюбовым о сущности и задачах искусства. Защищая «свободу искусства» от идеологов «утилитарной» эстетики, Достоевский, по всей вероятности, имел в виду и Чернышевского, автора «Эстетических отношений искусства к действительности».

Об этом свидетельствует редакционное примечание к первому номеру «Времени»: «Ряд статей о русской литературе» (в первой книге мы напечатали лишь введение) будет следовать, по возможности, непрерывно. Со второго же номера мы обратимся к одному из самых современных вопросов нашей литературы, вопросу о значении искусства и о настоящем отношении его к действительной жизни»⁹² — слова, подчеркнутые редакцией, почти повторяют название известной диссертации Чернышевского.

В первой же статье об искусстве Достоевский затронул и центральную тему современности — отношение к народу, тем более, что речь шла о статье Добролюбова «Черты для характеристики русского простолюдинства». Достоевский упрекает публицистов «Современника» за якобы недостаточное знание действительности, называя их «кабинетными мечтателями». Но при этом Достоевский все время подчеркивает свое полное сочувствие демократическому направлению журнала: «Основное начало убеждений его (Добролюбова. — Л. Р.) справедливо и возбуждает симпатию публики; но идеи, которыми выражается это основное начало, часто бывают парадоксальны и отличаются одним важным недостатком — кабинетностью»⁹³.

Достоевский решительно отвергал революционные устремления идеологов «Современника», их надежды на активность народных масс, но прямо обсуждать эти вопросы в подцензурной печати было невозможно, и редактор «Времени» пользовался своеобразным эзоповым языком: «Г.—бов — теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только б поставить ее так, чтоб она доказывала его идею»⁹⁴. В контексте всей статьи более широкий смысл приобретает и термин «кабинетный скачок», употребленный применительно к литературному развитию: «Перейдет г. Никитин через Пушкина, и если у него действительно есть талант, — поверьте, Г. — бов, дойдет, как и мы, до современных вопросов и будет писать с направлением. А требовать от него теперь, ведь это... ведь это будет... как бы это выразиться: ведь это будет кабинетный скачок...»⁹⁵. Ровно через год тот же спор с «Современником» и почти в тех же выражениях Достоевский продолжает в статье «Два лагеря теоретиков»: «Теория хороша, но при некоторых условиях. Если она хочет формулировать жизнь, то должна подчиняться ее строгому контролю. Иначе она станет посягать на жизнь, закрывать глаза на факты, начнет, как говорится, нагибать к себе действительность»⁹⁶. Достоевский обвинял «теоретиков» в нежелании считаться с законами исторического развития и особенностями русского национального характера и даже в пренебрежении к народу. «Мы ли к народу должны подойти, говорит „Современник“, или он к нам?» «Народ должен подойти к нам, или лучше мы должны подвести его к себе, потому что в нас, собственно, витают общечеловеческие идеалы, мы представители на Руси прогресса и цивилизации. А народ глуп, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа»⁹⁷. Рассказы Н. Успенского, высоко оцененные Чернышевским как новое, правдивое изображение народа, Достоевский воспринял сдержанно, а в рассказе «Обоз» он усмотрел даже «клевету на народ». В «Объявлении» об издании журнала «Время» на 1862 г. Достоевский опять укорял революционных демократов в антиисторизме, в том, что они будто бы хотят найти одну-единственную формулу развития для всего человечества.

Анализируя все печатные выступления Достоевского против «Современника» в 1861—1862 гг., даже самые тенденциозные, нетрудно заметить, что тон их обычно — доброжелательно-сдержанный. Объясняется это прежде всего тем, что Достоевский не рассматривал разногласия между «Временем» и «Современником» как непримиримые. Напротив, он был убежден, что в развернувшейся журнальной полемике «почвеннический», демократический журнал «Время» ближе всего стоит к «Современнику», к тому же примирение славянофилов и западников было заветной целью «почвенников». При обсуждении путей будущего развития России Достоевский, как уже говорилось, был стеснен цензурными соображениями и упоминать о революционных идеалах мог лишь намеками, в противном случае возникала опасность невольно приобщиться к «полицейским обязанностям» «Русского вестника». Наконец, к каждому выступлению по адресу Чернышевского и Добролюбова Достоевский относился с осо-

бой ответственностью, предусматривая то впечатление, какое оно произведет на молодое поколение, горячо преданное знамени «Современника». Все это необходимо иметь в виду, приступая к рассмотрению тех страниц записных тетрадей Достоевского, где критика ведется в гораздо более откровенной и резкой форме.

Как всегда у Достоевского, в заметках, сделанных для себя, многое утрируется, намеренно огрубляется, чтобы подчеркнуть свое отношение, свою мысль. Здесь много несправедливых, желчных обвинений и нападков на личность идейного противника («невежество» Чернышевского, «самоуверенность» его и Добролюбова). Тон Достоевского в записях явно отличается от тона статей, и в нем, разумеется, полнее выражено эмоциональное неприятие позиции руководителей «Современника». Но как только за раздраженной интонацией выступают реальные идейные разногласия, мы отчетливо видим, что в основном они все те же — уже известные нам по статьям во «Времени». «Куда вы торопитесь? (Чернышевск<ому>)). Общество наше решительно ни к чему не готово» (стр. 126). «Вы утверждаете, что общество созрело, а вопрос о Пирогове — как вы, дозревшие, его разрешили? Если б вы дозрели, то так бы не разрешили» (там же) — это уже Добролюбову, автору статей «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» и «От дождя да в воду». И опять о невозможности насильственно ускорить исторический процесс: «На свете ничего не начинается и ничего не оканчивается» (стр. 128). В черновых записях руководителям «Современника» приписывается нигилистическое отношение к человеческой личности. «Чернышевскому. — Вы хотите, чтоб вас не слушали, а слушались. — Всеобщими гражданами мы не сделаемся. Стертые пятиалтынные. Да ведь как и скучно-то» (стр. 150). Без упоминания Чернышевского этот упрек полностью перешел в текст «Объявления» на 1862 г.: «...лепят общую всенародную форму, в которую хотят отлить всеобщую жизнь, без различия племен и национальностей, т. е. обратить человека в стертый пятиалтынный»⁹⁸. Впоследствии, пытаясь дискредитировать будущее общество, созданное на основе науки и разума, Достоевский будет уподоблять его членов «муравьям в муравейнике».

Добролюбова Достоевский также обвиняет в «уравнительном подходе» к выдающейся личности знаменитого педагога-гуманиста Н. И. Пирогова. Убеденный противник применения «розги», Пирогов неожиданно, будучи попечителем Киевского учебного округа, утвердил «Правила», разрешавшие в некоторых случаях применять телесные наказания. При всем уважении к имени и деятельности Пирогова Добролюбов решительно осудил этот его поступок и высмеял либералов, вставших на его защиту. Достоевский, готовивший, как видно из записей, ответ на обе статьи Добролюбова, объективно сомкнулся с либералами: «Да человека-то вы просмотрели, деятеля. Он ошибся, и за ошибку, за одну ошибку, вы уж не уважаете его более» (стр. 142). И дальше: «Вы набросились на г. Пирогова как на человека, совершенно потерянного, забросав его грязью, и в лице Пирогова оскорбили всех. Общество благодарнее, чем вы думали. Оно может простить заблуждение, Вы не простили, т. е. вы человека не цените, люди без гуманности» (там же).

Искажая таким образом позицию Добролюбова, Достоевский даже стилю его статьи приписывает антигуманный смысл: «Главное. NB. Слишком уж мало было благодарности, слишком много замечалось удовольствия в выставлении языков и в показывании шпшей. Попался, наконец. Ведь точно вы рады были, наконец, что попался человек. Поймали, наконец, и этого!» (стр. 142). В сущности это единственное возражение Достоевского Добролюбову: «Вы во всем совершенно справедливы. Кроме злости и тона» (там же). Но в «злом тоне» Достоевский усматривает пренебрежение материалистов и социалистов к человеческой личности, будто бы желающих лишить ее самостоятельности, подчинить единым правилам поведения.

В записных тетрадях гневно, с заведомыми передержками, высказано неприятие Достоевским революционных, атеистических и социалистических идеалов «Современника». «Социалисты хотят переродить человека, освободить его, представить его без бога и без семейства. Они заклчают, что, изменив насильно экономический быт его, цели достигнут. Но человек изменится не от *внешних* причин, а не иначе, как от перемены *нравственной*. Раньше не оставите бога, как уверившись математически, а семейство прежде, чем мать не захочет быть матерью, а человек не захочет обратить любовь

в клубничку. Можно ли достигнуть этого оружием? И как сметь сказать заранее, прежде опыта, что в этом спасение? И это рискуя всем человечеством. Западная дребедень (стр. 180). «Революционная партия тем дурна, что нагремит больше, чем результат стоит, нальет крови гораздо больше, чем стоят все полученные выгоды. (Впрочем, кровь у них дешева.) Всякое общество может вместить только ту степень прогресса, до которой оно доразвилось и начало понимать. К чему же хва<та>ть дальше с неба-то звезды? Этим все можно погубить, потому что всех можно испугать. В сорок восьмом даже буржуа согласился требовать прав, но когда его направили было дальше, где он ничего понять не мог (и где в самом деле было глупо), то он начал отбиваться и победил» (стр. 176).

Поразительно, с какой полнотой и определенностью уже в первой половине 60-х годов Достоевский формулирует свое отношение к идеям революции и социализма, то отношение, которое отныне и до конца жизни писателя так или иначе будет присутствовать в каждом из его сочинений. Но с такой отчетливостью непосредственно от имени автора оно выражается разве только в заграничных письмах А. Н. Майкову и Н. Н. Страхову (1868—1871 гг.), да еще в статьях «Дневника писателя».

Полемические записи, обращенные к «Современнику», имеют первостепенное значение для понимания взглядов Достоевского. Достоевский отнюдь не оригинален в той системе упреков, которую он выдвигает против социализма и революции, приписывая первому утилитарный, потребительский принцип общественного устройства, а второй — отрицание опыта живого исторического развития. Однако позиция Достоевского этим не исчерпывается. Он спорит не только с противником, но и с самим собой, он ищет истину, жаждет новых доказательств. Борясь с революционерами, он вспоминает несомненно и о крушении собственных иллюзий, ссылаясь, как мы видели, на результаты западноевропейских революций, показавших, что буржуазия узурпировала демократические завоевания народа. Он мечтает о сближении с «Современником» отнюдь не только из тактических соображений, как иногда полагают исследователи, а из внутренней потребности собственной веры. «Теоретикам и нигилистам можно сказать: вы проповедуете социализм, но сами же вы верите в *опыт*. Знайте же, что никогда вам не убедить никого в социализме путем голословного убеждения. Нужен опыт. А следовательно надо хлопотать только об усилении и о прогрессе в теперешней жизни, которую вы презираете, а между тем этим усилением вы будете приобретать все более и более опытов, через которые народы сами дойдут до социализма, если только правда, что он представляет универсальное лекарство всему обществу» (стр. 180. Подчеркнуто мной. — Л. Р.).

«В основе мы с вами согласны, но <что> вы построили на этой основе, — все вздор. — Вы хоть и шут и невежда, но вы честны и в основании верны» (стр. 150). Характерно, что, при всей желчности своих возражений руководителям «Современника», Достоевский не терпел ничего подобного со стороны «Русского вестника», считая его органом официозным: «Г-н Катков не находит разницы между нашим официализмом и русскими основными народными силами. Тут г. Катков сломит ногу» (стр. 186). В другой книжке также подчеркивается официальный характер «народности» Каткова, который пользуется «русским духом» как государственный человек «для вызова идейным противникам» (стр. 286). Когда Катков ополчался в печати на материалистов и социалистов в выражениях, кстати сказать, довольно близких терминологии Достоевского, писатель выступил с такой отповедью, которая обнаруживала, насколько еще не решены в его сознании все «роковые вопросы». В статье «Ответ „Русскому вестнику“» (май 1861 г.) Достоевский писал: «„Так точно, — продолжает „Вестник“, — кто видит в человеке не более как химические щелочи, кислоты и соли, в том самом смысле и силе, как они открываются нам в реторте, тот не говори о правах человека, об его пользе, об улучшении его быта <...>“

Вот ведь охота-то говорить!

Уверяю вас, что я, пишущий эти строки, отнюдь не думаю и не верю, что я вышел весь из реторты. Я не могу этому верить. Но если б я и верил именно так, почему же тогда я не мог бы говорить о правах человека, об его пользе и об улучшении его быта? Для чего было бы мне „смеяться в глаза моему единоверцу и жить, как случилось“? Да из одной механической выгоды люди, для того только, чтобы существовать, должны бы были со-

гласиться между собою, условиться, а, следственно, и связать себя взаимно долгом друг другу. Вот уж и долг, а, следственно, и цель в жизни. Без этого немислимо общество. Каковы бы их убеждения ни были, ведь они все-таки остались бы людьми, природу свою не могли бы уничтожить? <...> По крайней мере это вопрос мудреный, и решить его так вдруг, как вы решаете — невозможно. Это: „вопрос, которого не разрешите вы!“ А вы решаете его что-то слишком спокойно, слишком торжественно, уж это одно подозрительно...»⁹⁹ Вот чем ненавистен Катков Достоевскому: слишком спокойно, слишком «торжественно» решает он самые сложные и больные вопросы! Для Достоевского эти вопросы — источник непрерывной внутренней борьбы и страдания. Вспоминаются слова из письма его Фонвизиной 1854 г.: «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить...»¹⁰⁰ Не вера даже, а только лишь — «жажда верить». Если впоследствии Достоевский утверждал, что человек не может быть гуманистом без уверенности в личном своем бессмертии и, следовательно, в существовании бога, то в «Ответе» Каткову он выразил мысль о возможности разумного устройства общества, исходя из земных интересов людей.

Иногда разногласия с «Современником» представлялись Достоевскому даже легко разрешимыми, поскольку оба «в основании верны». В одной из записей читаем: «И чего мы спорим, когда дело надо делать. Заговорились мы очень, зафразировались, от нечего делать только языком стучим, желчь свою, не от нас накопившуюся, друг на друга изливаем, в усиленный эгоизм вдалились, общее дело на себя одних обратили, друг друга дразним, ты вот и отстал, ты вот не так общему благу, а надо вот так, я-то лучше тебя знаю (главное, *я-то лучше тебя знаю*). Ты любить не можешь, а вот я-то любить могу, со всеми оттенками, — нет уж как-то не по-русски. Просто заболтались. Чего хочется? Ведь, в сущности, все заодно. Нашу же сами разницу выводим, насмех чужим людям. Просто от нечего делать душим» (стр. 149).

Таким образом, в записях Достоевского, относящихся к первой половине 60-х годов, в форме азартного спора с Чернышевским и Добролюбовым изложены его основные убеждения этих лет. Это — первый из дошедших до нас набросков будущей философской и общественно-политической концепции писателя. Между отдельными положениями, как мы заметили, существуют противоречия, здесь нет окончательных выводов, последнего слова. Кроме статьи о Добролюбове и Пирогове, Достоевский, судя по заметкам, намерен был написать статью широкого плана, затронув литературно-критические и исторические работы Чернышевского, а также его эстетический трактат. Оставить в стороне он, видимо, предполагал только вопросы политической экономии, в которых был несведущ (но даже такая оговорка делается в форме иронической: «Мы не успели себя особенно заявить в политической экономии; но мы не помещали статей пол(итико)-экон(омических)», хотя бы потому только, что и у вас уж их слишком много» — стр. 150). Своеобразным ответом на «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского должен был быть цикл статей Достоевского: «Но рассмотрим идею нашей литературы и в следующих статьях с Гоголя» (стр. 126).

Трудно сказать, почему эти публицистические замыслы Достоевского не были завершены. Выступление против Добролюбова в острой, полемической форме не могло уже состояться после смерти критика в ноябре 1861 г. Полемика с Чернышевским была насыщена столь острыми политическими вопросами, что вряд ли их возможно было с достаточной определенностью разъяснить в подцензурном издании. Не потому ли в «Объявлении» журнала «Время» на 1862 г. и в статье «Два лагеря теоретиков» (февраль 1862 г.) мы встречаемся с возражениями «Современнику» все в той же привычной для Достоевского иносказательной форме. Здесь дается не разъяснение, а скорее формула разногласий. Недостаточно было бы сказать, что до середины 1862 г. Достоевский соблюдал лояльность в отношении революционных демократов. Считая себя так же, как и их, прогрессивным деятелем журналистики, он искренно заботился о взаимопонимании, пытался склонить их симпатии к «почве».

На этом пути Достоевскому приходилось преодолевать упорное сопротивление главных сотрудников «Времени» — Страхова и А. Григорьева. В одном из писем Григорьев сетовал, что «„Время“ имеет наклонность очевидную к Чернышевскому с компанией. Пусть их процахнут и протрезвеют немного от симпатий к „Современнику“». Там

у меня есть верный глаз, молодой философ, идеалист, Николай Николаевич Страхов»¹⁰¹ (в мае 1861 г. отчасти из-за расхождений с общим курсом редакции Григорьев уехал в Оренбург). Самому же Страхову он заявлял в конце 1861 г.: „Времени“, чтобы быть самостоятельным, нужно: или 1) окончательно изгнать меня и тебя и постараться переманить Чернышевского или 2) быть последовательным в своей вере в поэзию и жизнь, в идею народности вообще...»¹⁰². В «Воспоминаниях» Страхова сочувствие Достоевского к «Современнику» рассматривается как проявление журнальной тактики: «В моих статьях иногда редакция приставляла к имени автора, на которого я нападал, какой-нибудь лестный эпитет, напр. *талантливый*, *даровитый*, или в скобках: (*впрочем, достойный уважения*). Были и вставки; так, в статье „Нечто о полемике“ было вставлено следующее место: „Вольтер целую жизнь свистал и не без толку и не без последствий. (А ведь как сердился на него, и именно за свист)“. Эта похвала свисту вообще и Вольтеру в частности нарушает тон статьи и выражает вовсе не мои вкусы. Но редакция не могла не вступить за то, что имело силу в тогдашних нравах и на что признавала и за собою полное право. Вставка принадлежит Федору Михайловичу, и я уступил его довольно горячему настоянию. Скоро, впрочем, все поправки такого рода вовсе прекратились»¹⁰³.

Для «горячего настояния» отдавать должное «Современнику» — вождю молодого поколения у Достоевского, как мы знаем, были причины более глубокие. Они вскоре обнаружались с полной ясностью, когда во время страшных петербургских пожаров весной 1862 г., послуживших сигналом к наступлению реакции, братья Достоевские представили в Цензурный комитет две статьи, посвященные этому народному бедствию. Пафос статей — в защите студентов и всей передовой молодежи от обвинений в поджигательстве, зловещие слухи о котором, быть может, исходили из III Отделения. Независимо от того, писал ли эти статьи один Федор Михайлович, или они были написаны совместно с М. М. Достоевским, честность и мужество редакторов «Времени», проявленные в тот момент, трудно переоценить. «Современник» и «Русское слово» были уже приостановлены на восемь месяцев правительственным распоряжением. Ежедневно пресса разносила и множила нелепые сведения об арестованных «виновниках» поджогов. Редакционные статьи журнала «Время» не только восставали против ложных обвинений молодежи, они требовали розыска истинных виновников и недвусмысленно намекали на провокационную роль правительственных учреждений (см. об этом подробно в статье Н. Г. Розенблюма в томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования»). Обе статьи были запрещены цензурой по прямому указанию царя.

Несмотря на уверенность в благородных целях многих участников освободительного движения, Достоевский воспринял кризис революционной ситуации как подтверждение своих трагических предчувствий. Еще в статье «Пожары» с нескрываемым отвращением упоминалось о прокламациях. А в заметке «О новых литературных органах и о новых теориях» («Время», 1863, № 1) Достоевский противопоставляет «подметную литературу» прогрессивному движению: «Поверьте, что саморазвивающееся общество само сумело бы остановить и подметную литературу. Не стало бы оно легко-мысленно жертвовать своими собственными интересами и не потерпело бы и у себя легкомыслия, а следовательно и подметной литературы, которая была бы буквально невозможна»¹⁰⁴. Здесь характерен успокоительный тон, которым говорит Достоевский о прокламациях, обращаясь к Каткову и другим обличителям революционеров. Он подчеркивает, что никакой угрозы государству и обществу «подметная литература» не представляет. Компанию реакционных журналистов он называет «кудатурающими» курами во главе с «петухом» — Катковым. Он вспоминает печально памятную историю с пожарами и повторяет одно из главных положений запрещенных редакционных статей «Времени», что, видимо, может служить дополнительным доказательством авторства Достоевского: «Господин Скарятин („Русский листок“, № 1) намекает даже на подметную литературу, на зарево пожаров и удивительно высоким слогом все это расписывает. С господином Скарятиным, по крайней мере, в направлении, очевидно сходятся отчасти и прочие новые и обновленные издания. А ведь такое смешение фактов по-нашему неверно. Что общего с прогрессивным движением общества вообще и подметными листками неиз-

вестной кучки? <...> Говорить, что народ прямо обвинил в пожарах наше юношество, опять неверно. И хоть г. Скарятин и прибавляет, что между юношами виновников не нашлось, соболезнует, жалеет о том, что народ обвинял юношество, но, видимо, намекает, что народ и не мог не обвинить. По крайней мере в длинной диатрибе он прямо завершает несостоятельность нашего прогрессивного движения пожарами и о пожарах он заговорил, видимо, не просто для эффекта. А между тем и о народе тут не так. Совсем не так, прямая клевета. Народ действительно обвинял, но кто подвигнул его к этому обвинению, кто надушил — а? Хохлатки и тогда уже бегали в паническом страхе? Закудактали они первые? Не они ли всему и виною, они, которые теперь перемешивают факты и трубят победу...»¹⁰⁵.

Достоевский заявляет, что обществу должна быть предоставлена свобода развития, деятельности, искания новых путей, на которых неизбежны ошибки и даже поражения. «Но, позвольте, господа: где, когда, в каких снах, в каких доктринерствах видели вы, чтоб общество, столетиями отучавшееся от дела, сразу, без науки, с первого шагу своего стало бы действовать, не ошибаясь, не падая, солидно и безошибочно? Бывало ли такое общество когда на всей земле? Разверните какую вам угодно историю и справьтесь, — французскую, английскую. Ведь это только г. Катков никогда не падает, так ему и Теймс в руки. А мы люди простые, обыкновенные»¹⁰⁶. Идейную борьбу с революционным лагерем Достоевский считал делом демократической журналистики, участие же в этой полемике Каткова и его adeптов он до определенного времени с презрением отвергал.

И нужно было обладать политическим чутьем Салтыкова, чтобы почувствовать, что время это кончится и что журнал Достоевского, сегодня выступающий против Каткова, в ближайшем будущем сам начнет «катковствовать». Именно об этом предупреждал Салтыков в фельетоне «Тревоги „Времени“» («Современник», 1863, № 3, хроника «Наша общественная жизнь»). Еще до возобновления «Современника» Достоевский предусматривал новый этап борьбы с «обличителями». В «Объявлении» на 1863 г. он называл направление «Современника» «западничеством в самом крайнем своем развитии и без малейших уступок». И хотя он при этом добавлял: «Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всем согласны с ними»¹⁰⁷, программа почвенников формулировалась вполне ясно и неприемлемо для «Современника». Дело не только в резких выпадах против обличителей («свистунов из хлеба»), не только в намеках на то, что «свист» имеет успех у публики и потому им выгодно пользоваться (кстати, первые наброски отдельных частей объявления находятся в записной тетради — см. стр. 156—158).

Дело в общественной позиции журнала «Время» в целом: в оптимистической оценке возможностей пореформенного развития страны, в отрицании «скачков» и опасных «salto mortale», т. е. революционных преобразований, в утопических надеждах на мирное слияние интересов всех сословий и партий, благодаря животворному значению русской национальной «почвы». Уповав на обращение прогрессистов к почве, Достоевский был поначалу искренне огорчен и удивлен, когда Помяловский и Некрасов отказались печататься во «Времени» по идейным причинам. «Разве наш журнал ретроградный? — писал он Некрасову. — Уж кажется нет даже и для врагов наших. Можно все говорить, но только не об ретроградстве»¹⁰⁸. И тут же предлагал такой практический выход: «По крайней мере сдержите Ваше обещание после выхода „Современника“ (письмо датировано 3 ноября 1862 г., когда «Современник» был еще закрыт. — Л. Р.). Уж тогда, конечно, Вас ни в чем не заподозрят. Всего лучше обругайте нас в Генварском №-ре „Современника“, а на Февральский наш номер дайте нам Ваших стихов»¹⁰⁹.

Но оправдался прогноз Салтыкова: в условиях наступающей реакции пути журналов братьев Достоевских и «Современника» расходились все более заметно, а идейная борьба между ними углублялась и обострялась.

Первая половина 60-х годов была временем формирования не только общественно-политических взглядов Достоевского. В эти годы складывалась и философская концепция писателя, и его представление о мировом историческом развитии. Не зная записных тетрадей, невозможно было представить себе, что одна из центральных для Достоев-

ского проблем — «Социализм и христианство» — рассматривалась им в 1864 г. примерно так же, как в «Дневнике писателя» 1877 г., в рассказе «Сон смешного человека», что его отношение к католицизму как основе всей жизни Запада определилось уже тогда, что тогда же он с полной определенностью выразил свои упования не только на грядущую роль русского государства, но и русской церкви: «Сущность папства. Умирание его. Доказать, что папство гораздо глубже и полнее вошло во весь Запад, чем думают, что даже и бывшие реформации есть продукт папства, и Руссо, и французская революция — продукт западного христианства, и, наконец, социализм со всей его формалистикой и лучиночками — продукт католического христианства. <...> Нарисовать идеал папы: жизнь, Христов наместник, владыка). Переход к русскому духовенству. Братство» (стр. 244).

Религиозно-утопический характер теории Достоевского выражается в том, что весь исторический путь человечества он рассматривает с точки зрения самосознания личности: сначала патриархально-первобытное состояние, когда человек живет в массе, не выделяя себя из нее, затем расцвет индивидуализма — обособление личности и, наконец, высшая форма взаимоотношений человека с обществом, когда он вновь «возвращается в массу», но уже обогащенный могущественным сознанием и развитием. Идеал человечества по Достоевскому: «вполне сознать свое я — и отдать это все самовольно для всех» (стр. 248). Поскольку внешне эта формула похожа на мечту социалистов, Достоевский решительно отделяет себя от них, заявляя, что там дело идет о насыщении «бога-чрева», а у него «о бессмертии души» (стр. 248—250).

Так записи 1864 г. проливают свет на все дальнейшие идейные искания Достоевского и одновременно на те глубокие затруднения, которые испытывал великий психолог-реалист, утверждая свою утопию. Одно из них — важнейшее (с ним мы отчасти соприкоснулись в записи по поводу смерти М. Д. Исаевой): невозможность для человека как земного существа с его «эвклидовским разумом» осознать, «вместить» идею о личном бессмертии. Ответить на этот «роковой вопрос» Достоевский считал абсолютно необходимым, ибо, только разрешив его, он мог сохранить веру в свою этическую и социально-историческую теорию. В противном случае приходилось признать правоту революционеров и социалистов, предлагавших земному человеку земные пути переустройства жизни, или даже согласиться со словами самоубийцы материалиста, чье письмо приведено в «Дневнике писателя»: «ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?»¹¹⁰ Вспомним Ивана Карамазова, его слова о русских мальчиках, которые, как сойдутся, так и начнут рассуждать: «О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца»¹¹¹.

Это была одна из самых мучительных и краеугольных для Достоевского проблем, волновавшая его всю жизнь и, как видим теперь, четко обозначенная в конспекте статьи о «Социализме и христианстве» еще за четырнадцать лет до «Карамазовых». Чувствуя абсолютную невозможность логически доказать существование бога и бессмертие души и вместе с тем признавая их единственной опорой этики, Достоевский страстно искал выхода из этой трагической коллизии. Как художник он одержал здесь немало побед, обусловленных молчаливым признанием необязательности идеи личного бессмертия для тех, кто умеет чувствовать и делать добро. Это и Лиза в «Записках из подполья», и Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании», и Лизавета Прокофьевна Епанчина в «Идиоте», и Аркадий Долгорукий в «Подростке», и Коля Красоткин, и Раскольников, пока не затмила его сердце безумная «наполеоновская» идея, и даже атеист Кириллов, почти накануне самоубийства развлекающий игрой в мяч маленькую девочку (чтоб не плакала). В сущности ведь и Алексей Карамазов не так тверд в своей вере в бога и бессмертие, хотя и твердо отвечает на вопрос отца, Федора Павловича. Лизе Хохлаковой он неожиданно признается: «А я в бога-то вот, может быть, и не верую»¹¹². Независимо от этих колебаний любовь к людям и желание отдавать им себя не ослабевают в нем ни на мгновение. Так значит не в бессмертии души здесь дело, а в великом и естественном желании человека жить для людей и с людьми. Именно такое

толкование человеческого идеала предлагает Достоевский в записи 1864 г., понимая очевидно, что, строго говоря, оно не является подтверждением необходимости идеи бога: «В чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному ужасно сильному, непобедимому ощущению, что *это ужасно хорошо*» (стр. 248). Как когда-то говорил добрый, наивный Ростаев (тоже по-своему «смешной человек») в повести «Село Степанчиково и его обитатели»: «Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым?»¹¹³ Но в таком повороте темы Достоевский по существу апеллировал к доброй природе человека, хотя и сказал впоследствии, что зло таится в душе человеческой «глубже, чем предполагают лекаря-социалисты». Большой этот спор так и не завершился в творчестве Достоевского. Как он продолжался в 70-е годы, мы увидим по материалам тетрадей к «Дневнику писателя».

В набросках статьи «Социализм и христианство» есть и другая важная для Достоевского тема — характеристика человечества, обаятого индивидуализмом в эпоху цивилизации: «человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает. Если б не указано было человеку в этом состоянии цели, — мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством» (стр. 248). Слова эти могли бы служить эпиграфом ко многим картинам действительности, написанным Достоевским. Они предвещают целую галерею больных и тоскующих его героев — от подпольного человека и Раскольникова до Версилова и Ивана Карамазова.

Таким образом, конспект статьи «Социализм и христианство», сделанный, по всей вероятности, осенью 1864 г., развивающий основные идеи записи от 16 апреля этого года, представляет собой краткое изложение системы взглядов Достоевского, отраженных во всем его последующем творчестве. На основе этой концепции в середине 70-х годов Достоевский, как увидим, рассматривал и всю историю мировой литературы от древнего мира до современности (см. стр. 442—448).

Сам характер конспекта «Социализм и христианство» и соседних с ним набросков к политическим статьям, в которых на конкретном материале писатель стремится раскрыть ту же тему (с упоминанием номеров прочитанных газет и названий нужных книг), естественный переход от событий западноевропейских к русскому западничеству, к судьбам буржуазной цивилизации в России и, конечно, к спорам с атеистами и социалистами, — весь этот нерасторжимый комплекс вопросов, затронутых вместе, сразу, на нескольких страницах записной тетради, чрезвычайно напоминает черновые материалы к «Дневнику писателя».

ПОЛЕМИКА С САЛТЫКОВЫМ-ЩЕДРИНЫМ

Чтобы вполне понять смысл и значение публицистических выступлений Достоевского против Салтыкова в 60-е годы, заготовками к которым являются записи в тетрадях, чтобы понять сочувственные отзывы Достоевского о Салтыкове и новую полемику в условиях середины 70-х — начала 80-х годов, необходимо иметь в виду не только совокупность отдельных высказываний, но всю сложность идейных и творческих взаимоотношений обоих писателей.

Жизненные и литературные пути Достоевского и Салтыкова во многом сходны, и эта близость еще резче обнажала разногласия. Оба писателя, вступив в литературу в середине 40-х годов, прошли общую школу идей. Под воздействием идей Белинского, теорий французских утопических социалистов, в обществе петрашевцев, куда входили и Достоевский, и Салтыков, формировались основы их мировоззрения.

Несоизмеримы по тяжести физической и моральной «вятский плен» Салтыкова и сибирская каторга и ссылка Достоевского, ранее приговоренного к расстрелу. И все же в характере духовного кризиса, пережитого обоими писателями, в том жизненном опыте, которым обогатились они за эти годы, есть много сходного. Глубокое разочарование в теориях, создаваемых в узких интеллигентских кружках Петербурга, оторванных от народной жизни, характерно и для Достоевского и для Салтыкова. Первое

серьезное соприкосновение с действительностью, глубокое знакомство с народом, с его психологией, возникает у Салтыкова именно в вятский период. Достоевский впоследствии писал, что «г. Щердин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г. Булгарина — мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их Крутогорской кормилицей, и скитник, и Матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно... Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж Занд, и „Отечественные записки“, и г. Панаева, и всех, и всех»¹¹⁴. Достоевский впервые по-настоящему познакомился с народом в Омской каторжной тюрьме, где целых четыре года прожил с ним общей жизнью.

Результатом этих лет явились две замечательные книги эпохи: «Губернские очерки» и «Записки из Мертвого дома». Каждая из них представляет широкую картину народной жизни, написанную с демократических позиций, в каждой слышен суровый приговор социальному строю, губящему великие народные силы. С особенной наглядностью идейная близость обоих писателей выступает в изображении острога. Жанровое своеобразие обеих книг (серия очерков, объединяемых в тематические циклы, фигура автора-мемуариста — свидетеля и участника событий) помогают создать широкую панораму русской действительности и собирательный образ народа. Жизненные впечатления этих лет во многом определили дальнейшее творческое развитие и Достоевского и Салтыкова. Салтыков отзывался о «Мертвом доме» как об истинно русском произведении, Достоевский назвал автора «Губернских очерков» «настоящим художником» и поставил его в литературе рядом с Гоголем. Поначалу Салтыков так же, как и Достоевский, приветствовал крестьянскую реформу (см., например, «Невинные рассказы»), но вскоре пришло разочарование. Салтыков делает вывод, что главная сила, вызвавшая необходимость реформы, — народ: «...Несмотря на всю забитость и безвестность, одна только эта сила и произвела всю реформу»¹¹⁵. Когда стало ясно, что надежды на народную революцию тщетны, Салтыков с горечью писал во вступлении к «Сатирам в прозе»: «... Именно оттого ее (толпу. — Л. Р.) и не прорвало, что она не доросла до этого понятия»¹¹⁶. Достоевский же идеализировал эту пассивность как свидетельство народной мудрости и христианской добродетели.

В литературе 60-х годов были темы, которые и Достоевский и Салтыков решали единодушно. Это, в частности, — сатирическое обличение новоявленных либералов из правительственного лагеря, после короткого периода «всеобщей хлестаковщины» возвратившихся к прежнему деспотизму. Таковы герои «эпохи конфуза» Зубатов и Удар-Ерыгин («Сатиры в прозе»), Вася Чубиков из мартовской хроники 1864 г. Васина эволюция завершается словами: «дисциплина: дисциплина и дисциплина!», что очень напоминает эволюцию генерала Пралинского из рассказа Достоевского «Скверный анекдот» (1862 г.). После неудачной попытки «сближения с народом», превратившейся в скверный анекдот, Пралинский возвращается в департамент с убеждением: «Нет, строгость, одна строгость и строгость!»

Крушение надежд на ожидавшуюся революцию вызвало глубокий кризис идей крестьянской демократии. Салтыков теперь окончательно утверждает в той мысли, которую сформулировал в итоге вятского периода: «Не хочу ровно никакого идола»¹¹⁷. Он стремится к предельной трезвости, к отказу от иллюзий в области общественного развития. Достоевский, напротив, еще более энергично проповедует почвенничество как единственное средство спасения от зол «европеизма» (т. е. капитализма и революции). Эту свою концепцию он наиболее подробно развивает в «Зимних заметках о летних впечатлениях», напечатанных на страницах журнала «Время» в самом начале 1863 г. Салтыков не мог примириться с тем, что Достоевский, обладая поразительной силой анализа трагических противоречий жизни, искал выхода из них в нравственно-религиозной проповеди. Журнальная борьба Салтыкова и Достоевского, несмотря на полемические излишества, несправедливые личные нападки и общее «понижение тона» в публицистике сравнительно с периодом Чернышевского — Добролюбова, по существу явилась выразительным свидетельством большой духовной драмы, которую переживала русская демократия в середине 60-х годов.

В тетрадях Достоевского записи, направленные против Щедрина, относятся к заключительному этапу полемики, преимущественно к тому времени, когда писались статьи «Необходимое заявление» («Эпоха», июль 1864) и «Чтобы кончить. Последнее объяснение с „Современником“» («Эпоха», сентябрь 1864 г.) — стр. 209—212; 250—256. Кроме тех набросков, которые нашли отражение в окончательном тексте статей, есть записи, свидетельствующие о желании Достоевского в объяснении с «Современником» еще раз коснуться основных теоретических разногласий. «Поймите же нас. Мы почвенники, во 1-х, потому, что верим, что ничего на свете не происходит отвлеченно (вне настоящей, исторической жизни) и скачками. <...> во 2-х. Путь ваш к достижению общечеловеческого идеала нам кажется неправильным; ибо чтоб *выжить* из прежних идей и усвоить, *нажить* себе новые идеи, влечения и стремления, — нужно действительно жить, настоящей жизнью, а не одним только мозгом, общим мышлением. <...> А в 3-х и главное (что собственно составляет не одну идею почвы, а нашу, собственно отличительную характеристику нашего журнала) — мы верим, что наш, собственно наш, русский почвенный идеал несравненно выше европейского (что он только сильнее разовьется от соприкосновения и сравнения с европейским), но что он-то и возродит все человечество» (стр. 257).

Здесь впервые у Достоевского появляется мысль, что нигилизм — это барская затея, позиция «лишнего человека» на новом этапе, мысль которая через много лет отзовется в концепции «Бесов»: «А с Белой Арапией все сказано, дальше некуда, — в безвоздушное пространство. Это остатки прежнего либерализма, имевшего свой исторический склад, но совершенно отжившего и присутствующего еще в огромной массе отживших людей, ходячих трупов <...> отделили отставших и никуда не приставших, которые представляют из себя вялое, пошлое поколение наших патающихся <по> дорогам лишних людей. Теперь наступают совсем другие идеи, идеи почвы, единства...» (стр. 210). Но по-видимому, «чтобы кончить», Достоевский решил более не удаляться в рассуждения, которые способны лишь затянуть и усложнить спор, и ограничился коротким ответом на обвинения «Современника». Достоевский не был вполне ориентирован, какова степень участия Салтыкова в этой полемике.

Вторым и последним выступлением Салтыкова против почвеннических журналов была драматическая быль «Стрижи» в составе статьи «Литературные мелочи» («Современник», май 1864 г.). Из-за разногласий внутри редакции, не одобрявшей, в частности, полемику с «Русским словом», которую одновременно вел сатирик, шесть его статей и одна рецензия, направленные против журнала «Эпоха», остались в то время ненапечатанными. Продолжал полемику Антонович. Его статья «Стрижам. (Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)» начиналась первым абзацем отвергнутой статьи Салтыкова. Подпись под статьей: «Посторонний сатирик, автор „Стрижей“, должна была ввести в заблуждение редактора «Эпохи». Однако Достоевский заподозрил мистификацию и отметил в записной тетради: «Только „Стрижей“ не вы писали, в „Стрижах“ есть веселость. А что, если вы солгали?» (стр. 252). И в другом месте: «Я не прячусь, я ни от кого не прячусь. Нет ни одной статьи, от которой бы я отказался, потому что от редакции выражал мнение редакции. Писали сообща. А вот вы так прячетесь, вы говорите, что „Стрижей“ написал не Щедрин. А [вот] что ж, если это писал Щедрин. Значит вы солгали и т. д.». Достоевский заканчивает запись знаменательными словами, которые он и для себя всегда имел в виду: «Что если когда-нибудь откроется. Ведь все открывается» (стр. 256). Даже здесь Достоевский не отказывает Щедрину в таланте сатирика: «У г-на Щедрина (М. Е. Салтыков) бывает иногда ядовитая веселость, — все же лучше, чем совсем уж плоская бездарность; прочтет кто-нибудь у нас вслух и мы смеемся. Об этом человек 20 могут засвидетельствовать. А вы так вот напротив, и какие вы унылые теперь стали. <...> Какой вы сатирик! Вы ругатель, а не сатирик!» (там же).

Главный упрек Салтыкова Достоевскому в этой полемике относился к неясности, межеумочности идеологии почвенников, желающих «сидеть между двух стульев» и рискующих «скатиться в болото реакции». Такой взгляд был основан на трезвом анализе тенденций общественной борьбы. Что же касается главной линии нападок Достоевского на Салтыкова, то в ней много «фантастического», и не в деталях, что характерно для этой полемики с обеих сторон, но по существу. Имея в виду разногласия в редакции

«Современника» и сложное положение Салтыкова, Достоевский придал этим фактам неожиданный смысл. Он приписал Салтыкову безыдейность, готовность петь с чужого голоса, прибавлять к своим сочинениям мысли, подсказанные редакцией. Такова тема памфлета «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах», в который входит «Отрывок из романа „Щедродаров“». И об этом же пишет Достоевский в записной тетради:

«Как кому угодно.

Учитесь, милые дети.

Нет, не дается нигилизм г-ну Щедрину, не дается. Он в таком же затруднении, по-ступив в нигилисты, как и генерал Зубатов, в его собственной повести, когда он хочет следовать за веком, биржу придумывает и даже выразиться не умеет. Сам г. Щедрин назвал такого сорта людей умирающими. Нет уж, пусть г. Щедрин пишет по-прежнему повести, не заботясь о правоучениях к ним. *Правоученье ему всегда подкажут*» (стр. 186). Достоевский, следовательно, считал «Слово к читателю», которым открывалось произведение Щедрина «Как кому угодно» и заключительную главу «Размышления» чем-то инородным и несамостоятельным. Сам Салтыков с полным основанием отмечал, что «Как кому угодно» выражает его собственный взгляд на отношение действительности к социальным утопиям, что в отличие от автора романа «Что делать?» он думает, что «нужно начинать не с намерений, а с разбора самых простых и ходячих общественных истин» («Гг. „Семейству М. М. Достоевского“, издающему журнал „Эпоха“»). С общей тенденцией Достоевского связаны и другие черновые наброски: «Дешевый гуманизм Щедрина», «Я ничего лично не имею против г. Щедрина, он мне отнюдь не враг. Но я преследовал в нем литератора продажного (что я слышал лично от г-на Щедрина)» (стр. 250, 255).

Последнее заявление, загадочное и неправдоподобное, заслуживает, однако, быть рассмотренным. Известно, что в 1862 г. братья Достоевские пригласили Салтыкова участвовать в журнале «Время». Салтыков предложение принял и печатался во «Времени», будучи сотрудником «Современника» и затем, когда «Современник» был закрыт. По свидетельству Салтыкова, М. М. Достоевский прислал ему «письменное приглашение сотрудничать далее, с предложением *каких угодно условий...*»¹¹⁸. На этот раз Салтыков отклонил предложение редакции «Времени». Последнее его произведение «Наш губернский день» появилось в сентябрьском номере этого журнала. Возможно, что в личном разговоре («слыхал лично от г-на Щедрина») Салтыков сослался на то, что «условия» «Современника» его устраивают больше. А так как в начале следующего года развернулась полемика между обоими журналами, у Достоевского родилась версия о «продажности» «не имеющего своих убеждений» Щедрина. К этим его рассуждениям примыкает, видимо, и следующая запись: «...Помещать статью хотя бы и в журнале с враждебным направлением. Тут ровно ничего дурного — если вы помещали то именно, что вы в каждом журнале поместили бы. Другое дело начать петь с чужого голоса» (стр. 254).

Самые резкие взаимные нападки, которыми изобиловала полемика Достоевского и Салтыкова, не поколебали в каждом из них представления о художественном таланте и огромном масштабе деятельности другого. Рассматривая полемические статьи и черновые наброски, нельзя забывать, что полемика Достоевского и Салтыкова — это тоже своеобразный литературный жанр, и широко употреблявшиеся в ней гиперболы и карикатуры были лично оскорбительными в пределах данной полемики, в рамках определившихся условий журнального спора. В известном отзыве о романе «Идиот» Салтыков несколькими словами сумел показать несоизмеримость сферы журнальной полемики с теми «исканиями человечества», которым отвечает подлинно великое произведение искусства: «Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного духовного и нравственного равновесия, положенную в основание романа „Идиот“ — и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся промежуточными станциями». С тем большей досадой замечает Салтыков, как неверное решение «частных» вопросов, карикатурное изображение деятелей прогресса,

подрывает движение к той прекрасной цели, которую преследует Достоевский. Замечательны последние строки этого отзыва, как бы завершающие сравнение между сегодняшней разногласицей споров и высокими идеалами человечества: «Жизненные вопросы, занимающие в данную минуту общество, могут, конечно, представлять большую запутанность и с этой точки зрения подвергаться критике, но не о правах критического отношения к ним идет здесь речь (невыблемость этих прав необходима в видах дальнейшего прогрессирования жизни), а о том, что за этими запутанными и невыясненными вопросами стоит нечто, не представляющее уже никакой запутанности и неясности. Это ясное и незапутанное — есть стремление человеческого духа придти к равновесию, к гармонии»¹¹⁹. Слова эти могут служить ориентиром для изучения сложных отношений между Салтыковым и Достоевским, в чем-то глубоко близких, исполненных взаимопонимания, в чем-то антагонистических, непримиримых до ненависти.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ. ПОПЫТКА НОВОЙ РЕДАКЦИИ «ДВОЙНИКА»

В записных тетрадах Достоевского 60-х годов запечатлен важный этап творческого пути писателя, когда публицистические проблемы и образы стали неотъемлемой частью его художественных произведений. Первым таким произведением был «Скверный анекдот» («Время», ноябрь 1862 г.). В записной книжке сохранился единственный небольшой набросок к этому рассказу. Он (вместе с маленькой заметкой для «Записок из Мертвого дома») находится между «заготовками» второй редакции «Двойника». Работа над всеми этими произведениями шла параллельно.

До «Скверного анекдота» злободневные публицистические темы были предметом журнальных статей Достоевского и в его художественные сочинения входили лишь отдельными мотивами (например, карикатура на либеральной кружок Безмыгина в «Униженных и оскорбленных» и там же полемика с «Антропологическим принципом в философии» Чернышевского). «Скверный анекдот» весь проникнут публицистикой, как и следующие за ним «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863 г.), «Записки из подполья» (1864 г.) и «Крокодил» (1865 г.). Характерно, что художественное творчество Достоевского широко «вобрало» в себя проблемы политические в период кризиса революционной ситуации, когда писатель активно противопоставлял революционной демократии свой анализ исторических путей России и без этих вопросов не мыслил ни жизни своих героев, ни своего собственного существования. «Скверный анекдот» открывается иронической фразой об эпохе 60-х годов, которая дает ключ ко всему дальнейшему повествованию: «Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимой силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам». Сатира Достоевского захватывает и высокопоставленных либералов, и ничтожных чиновников, привыкших тащить свою ношу наподобие муравья (сравнение для Достоевского символическое!), и самонадеянных сотрудников из журнала «Головешка» (т. е. «Искра»). Вне сатирического изображения остается лишь мать Пселдонимова, простая, добросердечная старуха — воплощение почвеннических симпатий Достоевского. Рассматривая набросок к «Скверному анекдоту» среди множества публицистических заметок в той же книжке, мы отчетливо видим идейные истоки рассказа.

Судя по характеру записки к «Скверному анекдоту» (первоначальное название «Несчастный случай»), сюжет рассказа, его главные характеры были найдены писателем сразу. В нескольких фразах черновой записки обозначен основной конфликт: либеральный генерал, пожелавший обнять с подчиненным, но не выдержавший «подвига» («Сначала генерал говорил ты Пселдонимову, а потом незаметно съехал на вы»), и мелкий чиновник в крайней нужде, готовый все стерпеть от благосклонного начальства («Пселдонимов был желчный чиновник, решившийся примириться и выиграть кусок насущного хлеба»). Здесь же намечен и парадоксальный финал — генерал, испортивший свадьбу несчастного чиновника, «великодушно» прощает его: «Передайте ему (ска-

зал генерал), что я не желаю ему зла. Скажу более: я даже готов забыть все прошедшее... да, я готов» (стр. 138).

По-видимому, характер работы Достоевского над произведениями малых жанров (рассказами, повестями) существенно отличался от процесса создания романов. В этом убеждают и черновые записи к рассказу «Кроткая», публикуемые в настоящем томе. Если важнейшей стадией работы Достоевского-романиста было «выдумывание планов», когда сюжеты непрерывно сменяли друг друга, и в результате окончательная редакция оказывалась совсем не похожей на первый замысел, то сюжет небольшого рассказа складывался в воображении писателя единовременно. Изменения, которые замысел рассказа претерпевал в дальнейшем, сводились по преимуществу к более углубленной характеристике персонажей, но не затрагивали, видимо, основной конструкции произведения.

Замысел рассказа «Крокодил» тоже, по всей вероятности, сложился сразу. В записной тетради очень много набросков к этому сюжету, но сам сюжет остается неизменным. Рассказ этот не был закончен Достоевским, а его напечатанная часть породила слухи о том, что в нем якобы изображены обстоятельства жизни Чернышевского (ссылка, семейные отношения и т. п.). Впоследствии, в «Дневнике писателя» 1873 г. Достоевский горячо отвергал такую трактовку: «Значит, предположили, что я сам бывший ссылный и каторжный, обрадовался ссылке другого „несчастливого“, мало того — написал на этот случай радостный пашквиль»¹²⁰. Материалы записных тетрадей полностью подтверждают справедливость слов Достоевского и дают, наконец, возможность документально опровергнуть вымысел, против которого протестовал писатель. В черновиках «Крокодила» упоминается по ходу сюжета много имен: Степанов, Краевский, Зайцев, Катков, Милуков, даже Игдев и Косица (Долгомостьев и Страхов), но имени Чернышевского там нет. Для записей Достоевского вообще характерно упоминание о прототипах, тем более, если речь идет о главном персонаже. Ситуация с крокодилом, проглотившим чиновника, облечена таким количеством конкретных деталей, которые никак не вяжутся с мыслью о ссылке Чернышевского. Чиновник Иван Матвеевич накануне заграничной командировки решил посмотреть в Пассаже крокодила и был крокодилом проглочен. Друг Ивана Матвеевича обращается за помощью к его сослуживцу, чтобы пребывание в крокодиле оформить как командировку в его недра: «Для естественного так сказать изучения-с. Нынче все пошли естественные науки. И для сообщения фактов-с» (стр. 270). Почтенный сослуживец, видя, что случай беспрецедентный, отказывается ходатайствовать по начальству, считая, что лучше всего выждать, поскольку Иван Матвеевич (в черновиках — Осип Федорович) «числится за границей, ну и довольно с него. Пусть осматривает европейские земли» (там же). Большое значение в сюжете имеют взаимоотношения с немцем — хозяином крокодила, чьи интересы ревностно оберегают сторонники процветания в России иностранных капиталов: «Восточный квиетизм чиновника несравненно ниже цивилизаторской палки немца и его супруги» (стр. 269). «Теймс решает, что нам нужно среднее сословие, стало быть капитал и права капитала, стало быть привилегия, — а без того не будет и финансов. Ну-с надо и крокодилышке дать привилегию. Если проглотившее существо либеральнее проглоченного» (стр. 263).

Достоевский был вполне искренен, заявляя, что ему «вздумалось написать одну фантастическую сказку, в роде подражания повести Гоголя „Нос“»¹²¹. В предисловии от редакции, которое он набросал в записной тетради, говорилось: «такой дерзостной лжи еще было не слышано в нашей литературе, кроме правдивейшего случая о том, как пропал нос у майора Ковалева» (стр. 268). Фантастический сюжет нужен был Достоевскому, чтобы вывести все направления современной публицистики, показав их отношение к происшедшему. В записях упоминаются «Своевременный» («Современник»), «Головешка» («Искра»), «Чайник» («Будильник»), «Волос» («Голос»). В обсуждение происшествия включались и «Русское слово» и «Эпоха». Интересна страничка записной тетради под названием: «Журнальные споры о крокодиле. „Волос“ и „Известия“». Здесь намечено шестнадцать точек зрения на необычайное событие, случившееся в Пассаже. Вот, например, реакция Зайцева: «Я не понимаю, что товарищ детства; да и что такое детство? Отсутствие хряща и недостаток фосфора в мозгу» (стр. 264). В «Эпохе» происходило следующее: «Сотрудник Игдев доставил в редакцию по сему поводу полемическую

статью. Но редакция, справедливо опасаясь, что статья сия будет направлена против „Современника“, прилично отказалась от сей статьи. Естествоиспытатель Косица. Но он ответил, что он может только решить: глотают ли своих сотрудников крокодилы на планетах, но о земле еще надо сообразить» (стр. 263).

Эти записи, как и многие другие, связанные с выступлениями прессы, не вопли в окончательный текст, но они очень важны для понимания замысла писателя — полеми-ческого, пародийного, но не памфлетного. В окончательном тексте рассказа есть место, которое дает возможность усмотреть намек на пребывание Чернышевского в Петропавловской крепости: «Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею — чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлекениях света. Опровергну все и буду новый Фурье»¹²². Но и здесь, на наш взгляд, сатирический образ философа, блаженствующего во чреве крокодила, может быть понят в привычном для Достоевского смысле: «кабинетным» теоретикам, оторванным от жизни, пребывание в крокодиле, откуда можно, привлекая всеобщее внимание, проповедовать прогресс, должно казаться идеалом.

Хотя «Крокодил» не является памфлетом и в нем не подразумеваются обстоятельства политической и личной судьбы Чернышевского, хотя его сатирические стрелы направлены против журналов и газет разных направлений, — в центре рассказа полемика с «Современником» и, главным образом, — с идеями Чернышевского. Характеристика основного персонажа в записях и в окончательном тексте не совпадает в некоторых существенных моментах. Так, Иван Матвеевич из печатного текста еще до своего переселения в крокодила был отчасти вольнодумцем и даже за границу собирался с мыслью посетить Швейцарию — родину Вильгельма Телля. Вначале же предполагалось, что он человек «рутинный, бездарный» и «стал нигилистом из самолюбия, боясь свистунов» (стр. 258—259). Наголове был каламбур: «Крокодил пустой. Боюсь стать нигилистом» (стр. 262). Став «нигилистом поневоле», Иван Матвеевич начинает философствовать с чувством исключительного собственного достоинства. Здесь Достоевский явно пародирует идеи Чернышевского: «Где разумная причина, где выгода?» (стр. 266), «Трагическое так же смешно, как и комическое» (стр. 272) и, наконец: «Стало быть, вы ничего не читали — это все я написал. „Как?“ — То есть как-с? — Роман „Как?“» (стр. 259). Подобно руководителям «Современника», как изображал их Достоевский, Иван Матвеевич начинает мнить себя Сократом или Диогеном. У Достоевского возникла даже «игривая» мысль: не обратить ли симпатии Ивана Матвеевича к почве? Быть может, эта тема появилась бы во второй половине рассказа: «Я был нигилистом поневоле. Всякий нигилист — нигилист поневоле. — Не примкнуть ли мне к почве?» (стр. 262). Интересно, что среди откликов на историю с крокодилом Достоевский сначала предполагал упомянуть и сочинение Кузьмы Пруtkова (которого Достоевский любил и постоянно цитировал): «Слышал тоже, что Кузьма Пруtkов хочет писать по поводу этого приключения повесть под названием „Лиза и мед“. Это не совсем вероятно, потому что Кузьма Пруtkов умер еще третьего года, о чем благородным образом извещил в „Современнике“ тогда же собственный племянник его Пруtkов Воскобойников 2-ой и приложено было посмертное сочинение его: „Опрометчивый турка, или приятно ли быть внуком“» (стр. 272).

В жанровом отношении с «Крокодилом» сходен рассказ Достоевского «Тритон (Из дачных прогулок Кузьмы Пруtkова и его друга)», 1878 г. В центре сюжета — тоже «необычайное приключение»: на Елагином острове перед гуляющей великосветской публикой неожиданно появился Тритон, всплывший на поверхность пруда. Это происшествие, подобно тому, как было в «Крокодиле», вызвало оживленные отклики у публики и в прессе. Достоевский приводит «отзывы» «„Биржевых ведомостей“ и исторического романиста г. Мордовцева, Щедрина и русских ученых-естествоиспытателей (Сеченова, Менделеева, Бекетова, Бутлерова и tutti quanti)»¹²³.

Неосуществленный замысел романа «Брак» с подзаголовком «Современный человек» связан, по-видимому, с размышлениями Достоевского об основных чертах «нигилистического романа» (стр. 251 и 256). В противоположность благополучному решению проблемы любовного «треугольника» Достоевский набросал канву трагического сю-

жета, со сложной психологией людей, глубоко страдающих, с центральным образом героини, которая становится жертвой inferнального чувства и умирает, благословляя своего несчастного мужа (стр. 272). В этом замысле нет ничего от «антисхемы», это — эскиз типичного сюжета Достоевского. Интересно, что при характеристике героини упоминается о грациозности княжны Кати (очевидно, из «Нечистики Незвановой»). В образе Кати писатель впервые воплотил те черты обаятельной и смелой женской натуры, одновременно склонной и к мучительству, и к благородному подвигу, которая всю жизнь его привлекала. Забыв многие сюжеты и лица своих ранних повестей, Достоевский, видимо, навсегда запомнил княжну Катю (о ней упоминается в рукописях «Подручка»).

Одно из центральных мест в тетрадах Достоевского 60-х годов принадлежит наброскам к новой редакции его ранней повести «Двойник». Повесть эта достаточно хорошо изучена, черновые записи к ней были извлечены из тетрадей Достоевского и напечатаны более сорока лет назад Р. И. Авансовым. Тем не менее в полной мере понять значение для Достоевского нового творческого обращения к старой повести можно лишь на фоне тех записей философского, исторического и социально-политического содержания, о которых только что шла речь. Известно, что еще в 1845 г. Достоевский, окрыленный успехом «Бедных людей», особые надежды возлагал на повесть о приключениях Голядкина: «Голядкин выходит превосходно; это будет мой *chef d'œuvre*»¹²⁴. При первом чтении «Двойник» очень понравился в кружке Белинского: «Голядкин в 10 раз выше Бедных людей. Наши говорят, что после Мертвых душ на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они! С какими надеждами они все смотрят на меня! Действительно, Голядкин удался мне донельзя. Понравится он тебе, как не знаю что! Тебе он понравится даже лучше Мертвых душ, я это знаю», — писал Достоевский брату 1 февраля 1846 г.¹²⁵

Вероятно, «Двойник» даже в большей мере, чем «Бедные люди», определил отличие творческой манеры Достоевского от Гоголя: «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, т. е. иду в глубину, а разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь. А у меня будущность преблистательная, брат»¹²⁶.

Достоевский вспоминал впоследствии, что у Белинского он прочел «Двойника» неполностью, непрочитанными остались как раз последние главы, менее удавшиеся автору. При полном и более углубленном чтении впечатление от «Двойника» в кружке Белинского оказалось далеко не восторженным: «Свой, наши, Белинский, и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе: критика. Именно: Все, все с общего говору, т. е. наши и вся публика нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности. <...> У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел»¹²⁷.

В печати Белинский оценил вторую повесть Достоевского как произведение необычайно значительное по мысли, но художественно не вполне совершенное: «В „Двойнике“ автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература, ума и истины в этом произведении бездна, художественного мастерства тоже; но вместе с тем тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил»¹²⁸. Этот отзыв Белинского Достоевский, по-видимому, принял безоговорочно, он и сам именно так понимал причину двойственного впечатления, которое произвела его повесть. И через тринадцать лет, когда, вернувшись из Сибири, писатель задумал переделать повесть для собрания своих сочинений, он высказался о ней примерно в том же духе, как когда-то Белинский: «Поверь, брат, что это исправление, снабженное предисловием, будет стоять нового романа. Они увидят, наконец, что такое „Двойник“! <...> Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником»¹²⁹.

«Величайшая» социальная идея «Двойника» в значительной мере обозначена заглавием. В фантастической форме существования двойников Достоевский показал жестокий процесс обезличивания человека в бюрократическом, чиновничьем государстве. Доселе скромный и смиренный помощник столоначальника Яков Петрович Голядкин заболевает манией преследования. В безумии ему внезапно открывается очень многое из того, что по своей патриархальной наивности не замечал он раньше. Теперь ему становится ясно, что, несмотря на усердие по службе и добрый нрав, положение мелкого чиновника в обществе настолько ничтожно, что все равно его не принимают за человека и в любой момент готовы выбросить, как тряпку, и заменить кем-нибудь другим: «И подменит человека, подменит подлец такой, — как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка». Главный враг Якова Петровича — некто «Голядкин-младший» — удачливый двойник героя, плод его расстроенного воображения. «Младший» — интриган, циник, карьерист и подхалим, готовый поминутно лететь «по особому поручению». Похожий на старшего как две капли воды, он нагло присваивает его доброе имя и все результаты его трудов, перекадывая на плечи тихого собрата свои долги и неприятности. Наконец, кошмар Голядкина достигает гиперболических размеров: ему снится, что народилась «страшная бездна совершенно подобных — так что вся столица запрудилась, наконец, совершенно подобными <...> Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди...» Так Достоевский показал трагедию личности, значение которой в современном обществе все более и более сводится на нет. Несчастный чиновник поднимает бунт против бесчеловечного закона жизни, при котором возможно существование двух Голядкиных, против порядка вещей, позволяющего «безобразному и поддельному», «бесполезному и фальшивому» господину Голядкину постоянно брать верх над «настоящим и невинным господином Голядкиным». С новой трагической силой и буквально в тех же словах, что Макар Девушкин, выражает свой протест Голядкин: «Да как же? по какому же праву все это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это?»¹³⁰. В письме на имя губернского секретаря Вахрамеева Голядкин клеймит «неблагородное фантастическое желание» некоторых лиц «вытеснять других из пределов, занимаемых ими другими своим бытием в этом мире, и занять их место». Он считает, что такой образ действий достоин сумасшедшего дома, но неумолимый ход событий приводит в этот дом его самого. Попытки Голядкина протестовать встречают всеобщий отпор и воспринимаются как недопустимое вольнодумство. Впрочем, твердость духа Голядкин отнюдь не отличается. Он «мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если бы только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим».

Интересно, что совсем иначе чувствовал себя Девушкин в «Бедных людях»: «Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку»¹³¹.

Но «двойничество» Голядкина имеет и еще один важный смысл. В какие-то минуты одинокому безумцу начинает казаться, что, может быть, напрасно он жил честно, не подличал, не третировал других. И не начать ли прямо сейчас вместе с «младшим» интригу вести «в пику им»? Может быть, это единственная возможность «в наш промышленный век», как он выражается, отстоять свое право и место под солнцем? Протест Голядкина приобретает в этом случае сугубо индивидуалистический характер. Достоевский приводит читателя к мысли, что «младший» Голядкин выражает какие-то тайные, глубоко запрятанные желания «старшего», который и хотел бы, да не в силах их осуществить. В записной тетради эта мысль точно сформулирована самим автором: «Младший, оказывается, что знает все тайны старшего, точно он олицетворенная совесть старшего» (стр. 138). Очень характерна другая заметка, рядом: «Младший — олицетворение подлости» (стр. 137). Отсюда начинается тема душевного подполья, болезненной раздвоенности человека. «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страданиях, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться», — писал Достоевский во время работы над «Подростком»¹³². Тема подполья началась в «Двойнике». Так думал сам Достоевский. «...Мой главнейший подпольный тип, — писал

он о Голядкине, (надеюсь, что мне простят это хвастовство в виду собственного сознания в художественной неудаче типа)» (стр. 310—311). И далее: «Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить» (стр. 314).

В 1861—1864 гг., когда Достоевский много работал над новой редакцией повести (для собрания своих сочинений), «подполье» интересовало его не только со стороны социальной и психологической, но также — философской и политической. Главный замысел Достоевского в 1864 г. — «Записки из подполья». Об этом свидетельствуют его размышления о тоскующем, больном сознании человека в эпоху цивилизации, о глубинных противоречиях между личностью и обществом, о недостижимости этического идеала в условиях земного существования, о страдании как необходимой форме переживания этих противоречий, о социализме, атеизме и христианстве, — размышления, которые мы находим в его тетрадях того времени.

Фантастический сюжет о приключениях Голядкина давал Достоевскому неограниченные возможности демонстрировать двойничество во всех аспектах, раскрывая «сокровеннейшие тайны чиновничьей души à la Толстой» (стр. 137). В такой «неограниченности» была и огромная привлекательность для художника и в ней же таилась большая трудность: необходимо было овладеть всем многообразием возможных ситуаций, ввести их в единое русло, создать эстетически завершенное целое. С этой задачей Достоевский, по его собственному признанию, не справился. Еще в 40-е годы, когда Достоевский писал «Двойника», сюжет, определявшийся характером героя, увлекал его в некую бесконечность, не давая окончить произведение. «Яков Петрович Голядкин, — писал Достоевский брату, — выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, ни в одном глазу, а что, пожалуй, если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет? Он ведь такой, как и все, он только так себе, а то такой, как и все. Что ему! — Подлец, страшный подлец! Раньше половины ноября никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с Е. Превосходительством, и пожалуй, (отчего же нет) готов подать в отставку. А меня, своего сочинителя, ставит в крайне негодное положение»¹³³. Даже по «голядкинскому» стилю этого абзаца чувствуется, что самому автору доставляло удовольствие продолжать рассказ и следить за новыми и новыми приключениями героя.

Но дело, конечно, не столько во увлеченности Достоевского сюжетом, сколько в том, что трагикомическую исповедь Голядкина нелегко остановить, так как по сути своей она стремится к дурной бесконечности. Вспомним, что исповедь человека из подполья Достоевский прервал механически: «Впрочем здесь еще не кончатся „записки“ этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться»¹³⁴.

Как же развивал Достоевский «голядкинскую» тему в 1861—1864 гг.? Достоевский предполагал значительно усилить социально-обличительный пафос повести. Голядкин-младший как воплощение подлости выступает апологетом существующих общественных отношений, тех самых, которые свели с ума старшего. Он превозносит русский бюрократический стиль за его патриархальность, ему мало, что «юридически начальство только по законам поступает, это только грубая подчиненность и послушание начальству. Но если за отца, тут семейственность, тут подчинение всего себя и всех домашних своих вместо начальства. Начало детских отношений к отцу. Детский лепет невинности, а это приятнее начальству» (стр. 137). «Г-н Голядкин младший растолковывает старшему: что значит принимаю благотворное начальство за отца и что тут рыцарское. Юридическое и патриархальное отношение к начальству и что правительство само добывается *за отца*». Сатирический размах темы, намеченной еще в первой редакции «Двойника», пожалуй, ни в одном из прежних произведений Достоевского не был так велик, как в этом замысле. Голядкин-младший не только распространяет мнения, выгодные начальству и даже правительству, но еще действует как провокатор и в личных отношениях со старшим, и в сфере политической. Младший подталкивает старшего вызвать генерала на дуэль, хотя понятно, что из этого может выйти или

катастрофа или конфуз. Осуществляя свой «подлый расчет», Голядкин-младший действует на старшего почти гипнотически, увлекая его своим «товариществом».

В другом случае он обольщает его надеждами относительно дочери начальника департамента Клары Олсуфьевны и дает явно пагубные советы: «Младший помогает ему, но по-настоящему мешает высказать, все не удастся» (стр. 138). Достоевский впервые использует здесь игру пети же (которую потом изобразит в «Идиоте» и в рассказе «Бобок»), когда каждый участник рассказывает о себе что-то сокровенное и обычно все лгут. Если в «Идиоте» правду сказал лишь Фердыщенко и потому остался в дураках, то в «Двойнике» единственно искренний человек — Голядкин-старший. Пользуясь этим, младший «вырывает у старшего признание в любви к Кларе Олсуфьевне (младший уже знает это и без старшего). Он начинает учить его, как победить Клару Олсуфьевну, подучивает, как быть развязным...» (там же). Эпизод заканчивается полным предательством Голядкина-младшего: «Наконец, младший жестоко высказывает все и высказывает, как они подыскивали *bon mot*, хотели пленить девицу и проч., одним словом все, что было у Голядкина, даже рукомойник и Петрушку. Хохот». Любое интимное признание старшего младший немедленно обращает ему во вред, использует для очередного предательства: «N. Бедная, очень бедная хромоногая немка, отдающая комнаты внаймы, которая когда-то помогала Голядкину и которую младший проследил, которую боится признать старший. История его с ней, патетически рассказанная младшему. Тот изменяет и выдает» (стр. 140). Но мало этого. Голядкин-младший, как уже сказано, выступает провокатором и предателем в сфере политической. На собрании у Петрашевского он произносит речи, «обнимается», льет «благородные слезы», но ясно, что «он донесет» (стр. 179). «На другой день Г. Голядкин идет к [Петрашевскому] и застаёт, что тот читает дворнику и мужикам своим систему Фурье и уведомляет его, что тот донесет» (там же).

Достоевский, как это видно из записей, намерен был раскрыть внутреннюю борьбу в душе Якова Петровича Голядкина, понимающего, что Голядкин-младший — его смертельный враг и вместе с тем готового соглашаться с ним «из романтизма и из восторга стадности» и даже писать «рыцарское письмо» с просьбой о «руке помощи», но в решительную минуту способного изобличить предателя. Характерно, что даже младший делает попытку спрятаться за старшего, но Петрашевский, видимо, изобличает его: «(Петрашевский) уже предупрежден младшим, что этот донесет, да и говорит: вы-то и есть доносчик» — стр. 179).

Начатый еще в первой редакции «Двойника» мотив самозванства («Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ и то ненадолго»¹³⁵) переведен в записях 60-х годов в современное политическое русло:

«Вдвоем с младшим. Мечты сделаться Наполеоном, Периклом, предводителем русского восстания. Либерализм и революция, восстающая со слезами» (стр. 138). Прямо к теме революции примыкает и слух о появлении в городе разбойника Гарибальди, который в полном соответствии со всепроникающей темой двойничества оказывается «статским советником в отставке», проживающим в Кирочном переулке № 31-й. Как и в других записях Достоевского, мысли о революции соседствуют с полемически-карикатурным изображением социализма, основанного якобы на личном материальном интересе, доведенном до крайности с благословения естественных наук и философии атеизма: «Кислород и водород переворачивают ему голову. Нет более Всевышнего Существа. Что же будет с министерством и начальством? Сон. Все упразднено. Люди вольные. Все бьют друг друга явно на улице. Обеспечивают себя (откладывают копейку)» (стр. 179).

В записях к «Двойнику» есть и полемические «уколы», направленные против «Современника».

«Протестуйте. — Да как протестовать? — Да вот, например, мальчиков секут в школах розгами» (стр. 178 — это к спорам по поводу Пирогова); «Ну-с, я вам скажу, что это изменится, когда наступят новые экономические отношения, а больше ничего не скажу» (там же).

Мы видим, что Достоевский считал сюжет «Двойника» достаточно емким, чтобы вместить все главные проблемы, волновавшие его в 1861—1864 гг. Фантастический рассказ, изображающий социальную беззащитность и духовную раздвоенность человека как

грагикомиический процесс вытеснения одного близнеца другим, представлялся очень подходящим для этой цели и привлекал Достоевского даже после того как «Записки из подполья» вышли в свет. Но осуществить задуманное, особенно в короткий срок, оказалось нелегко. На этот раз Достоевский уже навсегда отказался от своего желания. Найденное в «Двойнике» было по-своему продолжено во всех решительно произведениях Достоевского. Вероятно поэтому он так высоко оценивал идею своей ранней повести и в «Дневнике писателя» 1877 г.: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил»¹³⁶.

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

В записных тетрадях 70-х годов отражен новый этап творческого пути Достоевского. После восьмилетнего перерыва писатель опять вступает на поприще публицистики. С 1865 по 1873 г. он не писал публицистических статей, за исключением не дошедшей до нас статьи «Знакомство с Белинским». Эта статья, судя по письму Достоевского к Майкову 15 сентября 1867 г., была не только мемуарной. Писатель хотел, очевидно, еще раз заявить о своем направлении, со всей резкостью, присущей его политическим антипатиям этих лет, выступить против идей Белинского и его последователей. Живя за границей, Достоевский вынашивал мысль о возвращении к публицистике, причем одновременно проектировал разные издания (см., например, письмо С. А. Ивановой 6 февраля 1869 г.). С большим интересом следил он за тем, как составляются книжки журнала «Заря», наиболее близкого ему по направлению, и писал длинные письма Страхову, где давал редакторские советы. В журнальной и газетной работе Достоевский искал не только возможность пропагандировать свои идеи, но видел средство ежедневного соприкосновения с текущей жизнью, вне которой не мыслил творчества.

Вернувшись в Россию и завершив роман «Бесы», Достоевский принимает предложение издателя «Гражданина» В. П. Мецкерского стать редактором этого еженедельного журнала. Политические убеждения писателя за время пребывания за границей настолько эволюционировали вправо, что альянс автора «Бесов» с Мецкерским, Победоносцевым, Т. Филипповым оказался закономерным. Если в начале 60-х годов Достоевский враждебно относился к «Русскому вестнику», если даже в период создания «Преступления и наказания» он испытывал большую внутреннюю неловкость, предлагая роман Каткову, то в 1869 г. он заявлял, что «Русский вестник» «решительно лучший и твердо сознающий свое направление журнал у нас в России»¹³⁷. Никогда ни до, ни после Достоевский не говорил о Белинском в таком грубо оскорбительном тоне, как в письмах Майкову 11 декабря 1868 г. и 9 октября 1870 г. и Страхову — 5 и 18 мая 1871 г. Достаточно вспомнить, с каким озлоблением писал он из-за границы о революционном движении, о Парижской Коммуне, о передовой журналистике («минаевщина и салтыковщина»), называя себя «для России, — совершенным монархистом»¹³⁸.

Достоевский редактировал «Гражданин» с 1873 г. до начала 1874 г. Его авторское участие в журнале не ограничилось «Дневником писателя», ему принадлежит также ряд статей и заметок об иностранной политике и текущей жизни. Достоевский предполагал сделать «Гражданин» органом, вполне выражающим его программу. 26 февраля 1873 г. он писал М. П. Погодину: «Моя идея в том, что Социализм и Христианство — антитезы. Это бы и хотелось мне провести в целом ряде статей...». Считая, что социализм «проел почти все поколение», Достоевский был намерен «бороться, ибо все заражено»¹³⁹. Но Достоевский — мыслитель и писатель не укладывался в рамки журнала Мецкерского, так как истоки его убеждений были совсем иного рода. Защищая свою политическую утопию единения народа с монархом, Достоевский имел в виду прежде всего интересы народа, а не самодержавного государства. Призывая революционную молодежь отбросить нигилизм и обратиться к национальному духу, он заботился о нравственном состоянии общества, а не о сохранении порядка. Для достижения своей цели Достоевский считал допустимыми лишь средства убеждения, а не принуждения, тем более полицейского сыска. А главное все убеждения свои он непрерывно продолжал обсуждать, поэтому полемика — самая естественная для Достоевского и по существу единственная форма

его журнальной деятельности. Как бы ни был Достоевский консервативен в иных своих убеждениях, он не мог быть официальным. Характерно, что Победоносцев впоследствии стремился привить Достоевскому отвращение к «истасканному грязному плащу журнальной полемики» и даже получил от него заверение о намерении писать «именно как вы бы желали — без бесплодной обшечелейной полемики, а твердым, небоящимся словом»¹⁴⁰. Но напрасно! Без полемики, во всяком случае без внутренней полемики, Достоевский не писал никогда. Одной из причин ухода Достоевского из «Гражданина» было сознание невозможности вести его по собственному пути: «Принимаясь за редакторство, год тому, воображал, что буду гораздо самостоятельнее. От этого лишаюсь энергии к делу»¹⁴¹. Но Достоевский не только ушел из «Гражданина», но передал свой новый роман «Подросток» в «Отечественные записки». Можно согласиться с писателем, что этот шаг не изменил его направления, однако он с поразительной ясностью показал, что Достоевский всегда был несравнимо шире своего направления.

В справедливости такого взгляда мы еще раз убеждаемся, читая записные тетради к «Дневнику писателя» 1876 г. Наконец, впервые в жизни, Достоевский осуществляет издание, о котором мечтал более десяти лет. «Лицо» издания отражает личность Достоевского, слияние достигнуто почти полное. По сравнению с предшествующей публицистикой Достоевского «Дневник писателя» 1876 г. отличается большей независимостью от существующих идейных направлений и органов печати. С первых же строк выражается решительное неприятие и консерваторов и либералов. «Наша консервативная часть общества не менее говенна, чем всякая другая. Сколько подлецов к пей примкнули» (стр. 367). «...Либерализм даже ретрограден, за него Станислава дают, другое дело славянофильство» (стр. 372). Но Достоевский не ограничивается критикой собственно либералов. Это понятие он расширяет безмерно. К разряду «либералов» Достоевский по-прежнему причисляет всех, по его терминологии, «прогрессистов» и «западников» — от Салтыкова, Михайловского и Елисеева до Тургенева, от Кавелина до Суворина, от «Отечественных записок» до «Вестника Европы». Обычный упрек Достоевского «либералам», что, не зная русской действительности, они готовы служить либерализму во имя одного лишь отрицания, что, не имея в «подкладке» ничего положительного, они «боятся краснее себя» (стр. 607). «*Либералы*. Они связали себя как веревками, и когда надо высказать свободное мнение, трепещут прежде всего: либерально ли будет? Все трепещут, все до единого и выкидывают иногда такие либерализмы, что и самому страшному деспотизму и насилию не придумать», — записывает Достоевский, как бы возвращаясь к концепции «Бесов» (стр. 406). В лагере «западников» Достоевский отмечает разную социальную психологию. Для него Незнакомец (Суворин) и Тургенев — «аристократы и барчуки», а Пыпин и Елисеев — «дети священников наших», однако их отношение к народу оценивается одинаково отрицательно. Протiwоестественно объединяя Суворина и Тургенева, Достоевский пишет: «они сердятся и говорят, что они истинные народники, но с тем только, чтоб этот народ не имел ничего своего, но они ошибаются, ибо они не народники» (стр. 384). А несколько ниже, перефразируя Пушкина, Достоевский замечает по поводу «прогрессистов» из разночинцев: «Семинарист, как вам известно (и в этом смысле — демократ). Но может ли семинарист быть демократом, даже если б захотел?» (стр. 385).

Несмотря на предельно расширенное толкование либерализма, более всего враждебны Достоевскому так называемые «успокоенные либералы», равнодушные к народной трагедии и попросту спекулирующие на прогрессе. Вспомним известную формулу во вступлении к «Дневнику писателя» 1876 г.: «...считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокоиваться»¹⁴². В записных тетрадях находим разоблачительные характеристики Суворина, не попавшие в текст «Дневника»: «Суворину — Я вам скажу, что ваш либерализм есть ремесло или дурная привычка. Сама собою эта привычка не дурная, но у вас она обратилась в дурную. Вы скажете, что, напротив, не ремесло, а что вы были согреты чувствами и т. д. А я скажу, что ничем вы не были согреты, а просто запросто отправляли выгодную профессию, и что вообще нам далеко до нагревания. (...) Сравнение [Незнакомца с Булгариным] либерального фельетона с бывшим булгаринским» (стр. 381). И несколько дальше: «Незнакомец находится в фальшивом положении, потому что вдруг вообразил себя почему-то гением, и

главное один: никто ему не помогал в этом. Теперь во всяком фельетоне слышится препротивенькая фальшь: хочется говорить игриво и просто, но хочется также говорить нечто чрезвычайно премудрое, до того премудрое, что никому и в голову не придет, хочется подавлять остроумием. И вот, к удивлению нашему, ни игривости не видно, ни мудрости не заметно. А какое-то тарашение, какое-то теребление богом данной порции ума и таланта, чтоб раздать их в размеры Сухаревой башни» (стр. 390).

И опять возникает сравнение с произведениями Тургенева, будто бы «исписавшегося за последние десять лет и все продолжающего теребить свой талантешко ежегодно в „Вестнике Европы“» (стр. 390). Судя по тому, что записи о Тургеневе и Суворине перемежаются, можно предположить, что Достоевский сразу же после заявления о своей неуспокоенности намерен был подробно заняться «успокоенными либералами», но от большого полемического замысла в окончательном тексте «Дневника» осталось лишь беглое и вполне корректное упоминание о Незнакомце. Это вообще характерное соотношение между записями в тетрадях и текстом «Дневника» 1876 г., сознательно направленным на убеждение инкомыслящих, на обращение многих из них в свою веру.

Хотя «Русский вестник» остается изданием, близким Достоевскому по духу, но и против него нередко вырывается раздражение: «Я за роман („Подросток“) не в претензии, в „Русском вестнике“, конечно, могли не читать, не знать моего романа» (стр. 461). И в другом месте: «Я не хочу унижаться ни до одного ругательного слова, но „Русскому вестнику“ стыдно было бы писать, в приложении ко мне, о пустопорожних сосудах („Преступление и наказание“ и пр.)» (стр. 460). Дважды в разных местах тетради Достоевский высмеивает пошлые рекламные стишки о Льве Толстом, помещенные в декабрьской книжке «Русского вестника» 1875 г. Стишки написаны так, будто «граф Лев Толстой — конфетный талант и всем по плечу» (стр. 402). «Два очень странные стиха и против которых никто не протестовал» (там же). Особая, не сливающаяся ни с одним из направлений современной журналистики, позиция автора «Дневника» подчеркивается его критическим отношением к недавним единомышленникам, к тем, на кого он ориентировался, будучи за границей. «Банкротство консервативной партии, бойцы были Катков и Леонтьев — устарели. Н. Давилевский, написав правильную книгу „Россия и Европа“, уехал наслаждаться, вместо того, чтоб стать бойцом за правду. («Боец за правду» — излюбленная формула Достоевского для определения передового общественного деятеля; когда-то он так называл Добролюбова. — Л. Р.) Славянофилы в Москве исчезли. „Русский мир“ — позор бессилия и неумения вести дело» (стр. 404). «„Русский мир“ — приют всех бездарностей», — дважды подчеркивает Достоевский.

Таким образом, не только либералы, копирующие «французскую форму», но и консерваторы, повторяющие зады своей старой программы, Достоевскому не по душе. Теперь он вынашивает иллюзию непосредственного единения народа с монархом, через головы всех партий, независимо от сумятицы всех журнальных споров, ибо нигде не видит понимания народных интересов и исторической роли России. Отсюда его дружба с Победоносцевым и надежды на наследника престола. Отсюда его упование на православную церковь как нравственную силу, способную скрепить навеки союз «народобогоносца» с самодержавным государством. Если в конце 60-х годов (в «Идиоте», например) Достоевский считал русское дворянство мощной социальной и культурной силой, которая может во многом определить дальнейшие пути России, если «Подросток» с фигурой Версилова в центре представляется своего рода элегией о русском дворянстве, чья историческая роль уже в прошлом, то в «Дневнике» автор идет значительно дальше. Он находит, что судьба дворянского сословия завершена («в наше царствование уничтожился формальный чин лучших людей»), и теперь выдвижения лучших людей нации следует ждать прежде всего из массы простого народа: «Лучшие люди. Где теперь и что такое теперь лучшие люди. Чины — пали, дворянство пало. Все форменные установки лучшего человека — пали. Остались народные идеалы (юридичный, простенький, но прямой, простой). Богатырь Илья Муромец, тоже из обиженных, но честный, правдивый, истинный» (стр. 575).

В решении проблемы «лучших людей» наглядно проявились глубокие противоречия идеологии Достоевского. Он верно оценивал обреченность русского дворянства и морально-политическую несостоятельность молодой буржуазии (купцов и биржевиков), возлагая все надежды на народ. Но выдвигая вопрос о лучших людях как самый главный для русской жизни, Достоевский обращался лишь к области нравственной. Более того, его идеалом, как и в 60-е годы, оставался Илья Муромец, своеобразно понятый как богатырь-смирненник. Образ Ильи Муромца переходит из записных тетрадей в «Дневник». Иванище — символ пошлости, духовной нищеты, эгоизма и ограниченности: «Калика-Иванище есть середина, полуобразование, Калика-Иванище — ученый, литератор — он пишет о чем угодно. <...> Иванище теперь решает, а прежде решали сильные и лучшие. Скажут, что пусть и теперь решают лучшие люди. Да так и есть и за ними всегда окончательное слово, но Иванище многого не понимает, оттого много смуты» (стр. 449). «Иванища вредны», — подчеркивает автор. Иванище, в его толковании, олицетворяет «среду» (стр. 396). Путь в «лучшие люди», по мысли Достоевского, не закрыт теперь и для дворян, равно как и представителей других сословий, но это должно происходить тольк в силу личных достоинств, вне зависимости от классовых преимуществ: «Если он действительно лучший человек, то вот он теперь, когда он потерял все привилегии лучшего человека — вот он теперь и останется лучшим человеком, вот он теперь и будет хранить честь и совесть» (стр. 579). Такова социальная утопия Достоевского.

В этой связи характерно обращение писателя к теме войны (хотя и от лица некоего «парадоксалиста»). Не забывая об ужасах войны, Достоевский, однако, отмечает другую ее сторону — возможность каждого человека, независимо от социального положения, проявить вполне свою личность, обнаружить храбрость, мужество, великодушие. Для подтверждения своей мысли он намерен был «вернуть встречу Ильи со Каликою-Иванищем» (стр. 440). Особенный энтузиазм вызвала у Достоевского война за освобождение балканских славян от турецкого ига. Русские добровольцы, отправляющиеся на фронт защищать братьев-славян, воспеты в «Дневнике» как подлинно лучшие люди, долгожданное воплощение моральных, политических и религиозных идеалов автора.

В окончательный текст «Дневника» не вошло глубоко реакционное противопоставление войны и революции: «Кроме войны я никак не вижу проявлений для массы, ибо везде талант, ум и лучшие люди. Массе иногда остается лишь бунт, чтобы заявить себя. Иногда и заявляет, но это неблагородно и мало великодушия. <...> Умирать вместе это соединяет. О, другое дело гражданская уособица. Как ни уравнивай права революциями, но до этого удовлетворения не доровняешь» (стр. 387). Правда, констатируя, что признанные «талант, ум и лучшие люди» находятся вне народной массы, и поэтому ей остается проявлять свои великие возможности лишь в войне, автор считает такое положение преходящим и, в сущности, даже уходящим. Он свято верит, что народ неисчерпаемо богат талантами и что они должны проявиться во всех сферах жизни.

У Достоевского были не только любимые идеи, но навсегда отчеканенные формулы этих идей. Так, еще в черновиках к «Преступлению и наказанию» он записал: «Часто рождалась во мне мысль: мужик пашет, а он может Ньютон аль Шекспир. Падает яблоко, зарождается мысль и угасает. Кабы общее-то образование-с». Почти теми же словами Достоевский выражает свою идею в набросках к «Дневнику»: «Но как странно: мы, может быть, видим Шекспира. А он ездит в извозчиках. Это, может быть, Рафаэль, а он в кузницах. Это актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут (податное сословие для подготовки культурного слоя). Какой вековечный вопрос и однако он во что бы ни стало должен быть разрешен» (стр. 396).

Мечтая о свободном развитии людей из народа, о полном равноправии всех членов общества, Достоевский отвергал революционный путь демократизации России, его ужасала «гражданская междоусобица». Итогом многолетних раздумий писателя о судьбе народа звучат слова, начертанные в записной тетради: «Я никогда не мог понять смысла, что лишь $\frac{1}{10}$ людей должны получать высшее развитие, а что остальные $\frac{9}{10}$ служат лишь матерьялом и средством. Я знал, что это факт и что пока иначе невозможно, и что уродливые утопии лишь злы и уродливы, и не выдерживают критики. Но я никогда

не стоял за мысль, что $\frac{9}{10}$ надо консервировать и что это-то и есть та святыня, которую сохранять должно. Эта идея ужасная и совершенно антихристианская» (стр. 408). Достоевский равно не приемлет идеи революционного, социалистического преобразования, называя их «злыми и уродливыми» утопиями, и намерения крепостников и биржевиков законсервировать угнетенное положение народа. Полемическая направленность черновой записи в печатном тексте значительно приглушена. В набросках к «Дневнику» большое место занимают споры с Авсеенко как жалким эпигоном аристократических взглядов и вкусов: «...народ жаждет науки, из народа, бывали примеры, выходили даже своего рода самоучки европейской науки <...> Это дело каких-нибудь десятков лет весьма малых, и увидите, что из народа явится чрезвычайно много научных деятелей и тогда народ сравняется с вами» (стр. 524).

Борясь с идеологами революции, Достоевский-публицист всегда занимал свою особую позицию. Прежде всего он считал естественным и закономерным неприятие существующих социальных отношений: «„лик мира сего“ мне самому даже очень не нравится».

Все общественные институты Достоевский готов был подвергнуть самому требовательному анализу: «...Никакая из святынь наших не боится свободного исследования <...> — писал он в тетради 1876 г. — Мы хотим, чтоб святыня наша была настоящая святыня, а не условная, не то пусть не стоит, не стоит она того» (стр. 436—438). Правительственные учреждения писатель неизменно расценивал с точки зрения их служения народному благу: «Нет, те, коим принадлежит высокая забота о человечестве и о его будущем, тем принадлежит власть, кто бы они ни были, а от других отымать» (стр. 456). Это сказано применительно к Западной Европе, но имеет обобщающий смысл.

Отрицание, и не в одном лишь социальном, но и в философском смысле Достоевский считал неперменным фактором всякого движения вперед: «Отрицание необходимо, иначе человек так бы и заключился на земле, как клоп» (стр. 404). Он был репительным противником внешних препятствий любому развитию идей и по сочувствию свободной мысли, и по убеждению, что всякий подобный запрет влечет за собой общественную борьбу. Критикуя увлечение спиритизмом, Достоевский между прочим замечает: «О черти знают, что значит запрещенная мысль, для них это сущий клад. Черти отлично хорошо знают, что иная запрещенная мысль есть тот самый петролей и т. д.» (стр. 417).

Не только в художественном творчестве Достоевский изображал несправедливый, трагический мир, населенный одинокими страдальцами, — вся его публицистика проникнута стремлением найти выход из этого мрака к свободе и счастью человечества. Бунтари и «бойцы за правду» близки сердцу писателя, как бы ни отвергал он избранных ими путей.

Всегдашняя мысль Достоевского о том, что к теоретикам нигилизма примазываются Лебезятниковы, Бурдовские и Ракитины, а проходимцы и авантюристы типа Петра Верховенского подчас овладевают движением, не мешала ему ясно видеть: к идеям революции и социализма устремляется в каждую историческую эпоху лучшая, передовая часть молодого поколения. В записных тетрадях достаточно подробно затронута вовсе не освещенная в «Дневнике» тема декабризма. Начинается с резкого осуждения: «14-ое декабря было диким делом западнического уродливого. Зачем мы не лорды? <...> Освободили ли бы декабристы народ? Без сомнения, нет. Они исчезли бы, не продержавшись и двух-трех дней. Михаилу, Константину стоило бы показаться в Москве, где угодно, и все бы повалило за ними. — Удивительно, как этого не постигли декабристы» (стр. 380). Правильно понимая исторически обусловленную слабость декабристов — оторванность их от народа, Достоевский, однако, абсолютизирует эту черту, считая ее равно присущей любому революционному движению в России. И все-таки он замечает далее: «Меж тем с исчезновением декабрист<ов> — исчез как бы чистый элемент из дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь. <...> Это до того опоганило, что, когда раскусили Белинского, — все повалило за ним...» (там же). Так Достоевский признает, что после краха декабризма, на следующем этапе революционного движения «чистый элемент» общества пошел за Белинским. И в другом месте он вновь пишет: «Что такое 14 декабря? Бунт русских помещиков, пожелавших стать лордами, тем не менее к ним примкнуло все великодушное и молодое» (стр. 430).

В записях 70-х годов, так же как и в «Дневнике» 1876 и 1877 гг., имя Белинского окружено ореолом выдающегося мыслителя и вдохновителя дум русской молодежи, несмотря на все возражения ему, которые постоянно делает Достоевский: «Но знайте, что Белинский прав, когда и виноват — нужно иметь ум» (стр. 466). «Белинский в каторге, — я благоговел» (стр. 402). В полемике с либералами: «самые заблуждения Белинского, если только есть они, выше вашей правды, да и всего, что вы натворили и написали» (стр. 526). И в современной молодежи Достоевский видит отнюдь не только «плоды нигилитины 60-х годов», — он пишет об «оптимизме бросившейся в народ молодежи» (стр. 457). «А так как молодежь чиста, светла и великодушна, то и не может она [кроме разве великосветской] так прямо начать жизнь с цинизма и разврата, а, напротив, начинает с жертвы, с отпора, с великодушных стремлений, и не виновата же она в том, что в стремлениях этих не видно ни толку, ни связи, ни конца, ни начала...» (стр. 458).

Достоевский, по его собственным словам, признает «реальность и истинность требований коммунизма и социализма» (стр. 446). Одна из записей, сделанная в конце 1876 г., поражает казалось бы не свойственным Достоевскому жизнерадостным тоном и твердой уверенностью, что для будущего счастья человечества необходимы не только нравственное самосовершенствование, но общие преобразования. «Жизнь хороша, и *надо так сделать*, чтоб это мог подтвердить на земле всякий» (стр. 623; подчеркнуто мной. — Л. Р.). В тетрадах размышления писателя о проблемах революции и социализма порой даны значительно подробнее и многограннее, чем в завершенных произведениях. Интересно, что в одной из записей, говоря о «неизбежности европейского потрясения», автор серьезно анализирует его последствия и допускает (хотя и с большим сомнением) возможность создать «новый нравственный порядок» «вне Христа»: «Должны быть открыты такие точные уже научные отношения между людей и новый нравственный порядок (нет любви, есть один эгоизм, т. е. борьба за существование) — наука верит твердо. Массы рвутся раньше науки и ограбят. Новое построение возьмет века. Века страшной смуты. А ну как все сведется лишь на деспотизм за кусок. Слишком много отдать духа за хлеб. Если любить друг друга, то ведь сейчас достигнешь» (стр. 446). Как видим, главным аргументом против революционеров Достоевский считал возможность («если любить друг друга») осуществить братство без жертв и немедленно, а не через несколько веков. Однако же способность людей сразу полюбить друг друга, при всем стремлении Достоевского к этому идеалу, представлялась ему мало реальной. Характерно, что, формулируя свой идеал, писатель пользуется известными словами Некрасова из поэмы «Рыцарь на час»: «От ликующих, праздно болгающих, / Обагряющих руки в крови, / Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви!». «Великое дело любви и настоящего просвещения. — Вот моя утопия!», — пишет Достоевский (стр. 523).

В мечтах о будущем Достоевский видит Россию судьей европейского коммунизма: «Я убежден, что судьей Европы будет Россия. Она придет к нам с коммунизмом, рас судить ее. И Россия решит вовсе не в пользу одной стороны. Ни одна сторона не останется довольна решением. Все в будущем столетии» (стр. 430). Пафос Достоевского, отрицающего коммунизм, атеистов и революционеров — в горячем желании доказать, что коммунистические идеалы человечества призвана воплотить православная Россия. Писателю хочется верить: русские революционеры лишь потому вступили на этот путь, что принимают Россию за Европу, мало знают свою родину, а «если бы сумели отнестись к себе сознательно, то в России эти революционеры должны бы стать консерваторами» (стр. 531). Предчувствуя, что и ему самому могут быть сделаны подобные же возражения, поскольку картина русской действительности в его собственных произведениях не вселяет надежд на близость христианского братства, Достоевский со страстной жаждой веры восклицает: «Вы скажете — это сон, бред: *хорошо, оставьте мне этот бред и сон*» (стр. 611). Вспомним: «Мало того; если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»¹⁴³. Это признание Достоевского хорошо известно и часто цитируется. Но есть другое высказывание, очень мало известное, хотя и напечатанное в «Дневнике писателя»: «... у нас совершенно утратилась аксиома: что истина —

поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии»¹⁴⁴.

Разумеется, с точки зрения Достоевского здесь не было большого противоречия: допуская возможность логически доказать, что истина «вне Христа», он всей силой души стремился поверить: истина заключена именно в Христе. Тем не менее Достоевский настолько дорожил истиной «в самом чистом состоянии», так бескомпромиссно жаждал подлинной справедливости, что его анализ действительности не только в художественных произведениях, но и во многих публицистических статьях «Дневника писателя» поражает непревзойденностью и глубиной. Сравнивая период крепостнический с современным, пореформенным, Достоевский рисует и тот и другой достаточно мрачными красками.

«Фельдгегерь в 37 году» — воспоминание-символ с юных лет и навсегда осталось в памяти писателя. «Фельдгегерь», «курьер» — мелькают записи в тетради. Тяжелые, методические, беспричинно жестокие удары кулаком в затылок кучера, который выносит их безропотно, но при этом каждый раз с новой силой бьет по спине и без того загнанную лошадь, — вот страшная цепь социального зла в изображении Достоевского. К ней причастен даже и любимый писателем мужик Марей. (Этого важного штриха и «связи» Марей с фельдгегерем нет в окончательном тексте «Дневника».) «Марей. Он любит свою кобыленку и зовет ее кормилицей. Если же есть в нем минуты нетерпения и прорывается в нем татарин, и начнет он хлестать свою завязшую в грязи с возом кормилицу кнутом по глазам, то вспомните про фельдгегера, тут: воспитание, привычки, воспоминания, зелено вино» (стр. 416). Так образ Марей, казалось бы идеализированного Достоевским, неожиданно перекликается с мужиком из своднения Раскольникова, который бил свою кобыленку по кротким глазам. Деньги, водка, произвол буржуазных хищников, — вот что сменило фельдгегера на новом этапе. Достоевский твердо подчеркивает эту линию развития, указывая на преемственность двух периодов истории: «Теперь нет фельдгегера? Вы думаете? Положим, я вам уступлю фельдгегера, хотя про себя знаю, что он только в новом мундире и никуда не пропал. Но вместо фельдгегера есть что-нибудь хуже, есть зелено вино, есть 200-миллионный побор с вина, и тут же рядом самосуд» (стр. 412). И опять — характерная деталь: провозглашая идеал народный, Достоевский не приукрашивает мужика в его нынешнем состоянии: «*Дали власть самосуда*. Но если они были так измяты и унижены крепостным состоянием умственно, то как же вдруг они так умственно оказались трезвыми, что им дан самосуд. Суд вещь не текущая, не теперешняя. Суд, как идея, выше мужика, выше современного поколения» (стр. 398).

Достоевский считает вполне возможным, что и народу, подобно интеллигенции, придется пройти в период цивилизации путем «разврата и лжи». «Я бы желал опробиться или чтоб вы мне сказали что-нибудь утешительнее. А если с ним это и случится то давайте-ка способствовать вместе, чтоб обошлось дело легче и прямее к цели» (стр. 419). Обличая капиталистический миропорядок как царство меркантильных интересов, в угоду которому человек уничтожается не только нравственно, но и физически, Достоевский сближается со Щедриным и прямо приводит его слова: «„Ведь до чего ж это дойдет?“ — сказал Салтыков» (стр. 398).

Достоевский предпринял издание «Дневника» именно для того, чтобы, изучая разрозненные, иногда внешне незаметные события текущей действительности, познать общую закономерность развития. Записные тетради гораздо более наглядно, чем «Дневник», показывают, как писатель, читая газеты, связывал единой концепцией события совершенно разнородные: «„Голос“. 1-е декабря. Дело Овсянникова и статья о перемене карты Европы, признанная за сумасшествие» (стр. 372). Или: «„Голос“. 5 декабря. Пятница. Реферат об здании для хранения редких и драгоценных вещей в Лондоне, с выкачиванием воздуха из главных подвалов. Тот же №. Зверство доктора над девушкой, которая застрелилась» (стр. 373). Ужасающий рост самоубийств, особенно среди молодежи, духовно неприкаянной или разочарованной, разложение семейных устоев («случайное семейство»), физические и моральные страдания, которые в этих условиях несут ни в чем не повинные дети, — вот наиболее важные факты, служащие для Достоевского неопровержимым доказательством трагического состояния общества.

Неверно было бы думать, что писатель в решение нравственных проблем не всегда включает критерии социальные. Как подлинный реалист Достоевский стремится к максимальной полноте социального объяснения характера, но, исчерпав его в пределах своего понимания, считает эти критерии недостаточными (полемика с теорией «среды» и другими попытками «точно» детерминировать психологию): «Человек принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь» (стр. 428); «наука есть дело великое, но всего человека она не удовлетворит» (стр. 447). И несколько ниже: «Наука — теория. Знает ли наука природу человеческую? Условия невозможности делать зло — искореняют ли зло или злодеев?» (стр. 454). Однако, несмотря на это, Достоевский считал абсолютно необходимым исследовать все социальные условия, порождающие зло. То, что хорошо известно по художественным произведениям писателя, четко сформулировано в одной из черновых записей: «Ясно, что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, <на> который оно наткнется и остановится. Этот забор — есть нравственное состояние общества, крепко соединенное с социальным устройством его, способствующим делу» (стр. 395).

Отличительная особенность «Дневника» и тем более подготовительных записей к нему, как мы уже отмечали, — в неразрешенности многих жгучих вопросов современности. Иные из своих идей Достоевский называл «аксиомными» (стр. 573): «Я мог говорить вздор, хотя я еще и не представляю плана, но основные мысли <...> из которых я выхожу, — *безошибочны*, я верю в это» (там же). Но к ним не принадлежали даже те мысли, на которых Достоевский очень темпераментно настаивал. Заявляя: «У нас никогда монархия не может быть тиранией в идеале, а лишь — в уклонении», Достоевский тем самым оставлял возможность для критики реально существующей самодержавной власти. Скептическая интонация проникала и в рассуждения о православной церкви: «Французы ухлопали свою веру ради энциклопедии <...> Мы еще можем надеяться! Народ у нас еще верует в истину... если только наши „батьки“ не ухлопают нашу веру окончательно» (стр. 394). Ср.: «Церковь в параличе с Петра Великого». (Бгр., 356). Эта тема начата Достоевским еще в 1873 г., в подробном конспекте неосуществленной статьи, приуроченной к двухсотлетию со дня рождения Петра I. Касаясь изменений сословных, экономических, нравственных, возникших в результате петровских реформ, Достоевский отмечает, что священники стали превращаться в чиновников (стр. 292). Подлинно: не было ни одного убеждения и даже верования, которое Достоевский в глубине души не подвергал бы беспощадному анализу. Записные тетради свидетельствуют об этом борении его духа с удивительной наглядностью. Утопист, мечтатель уживались в Достоевском с мыслителем, жаждущим истины во что бы то ни стало, во имя человека и человечества: «Я неисправимый идеалист, — признавался он с горечью в «Дневнике писателя» 1876 г. — Я ищу святых, я люблю их, мое сердце их жаждет, потому, что я так создан, что не могу жить без святых, но все же я хотел бы святых хоть капельку посвятее, не то стоишь ли им поклоняться?»¹⁴⁶.

Даже при характеристике собственного направления Достоевский абсолютно тверд лишь в субъективной уверенности, что оно посвящено «благородной цели». Желание объединить западников и славянофилов («Миллер провозгласил славянофильское учение народным. А я выдумал примирить славянофилов с западниками» — стр. 531), наивысшим выражением которого была речь о Пушкине, затем сменилось убеждением, что такой мир невозможен. «Две партии в бою, в настоящем организованном бою. Ложно, если говорят, что нет партий» (стр. 696). И хотя к концу 70-х годов Достоевский все сильнее ощущал себя идеологом «партии» Победоносцева, глубокие сомнения не оставляли его до конца жизни. И, быть может, точнее всего Достоевский определил свой пафос в такой записи: «Я хочу оставаться свободным не только с той, но и с другой стороны. Мой девиз: за правое дело, а кто неправ, пусть сам на себя пеняет». Конечно, логика борьбы подчас оказывалась сильнее желания Достоевского быть независимым, многие его выступления активно поддерживали правительственный курс, но вполне надеяться на солидарность великого мученика мысли и совести Победоносцев не мог. В 1934 г. в томе 15 «Литературного наследия» Л. П. Гроссман впервые напечатал письма Победоносцева к Достоевскому как свидетельство большой близости писателя к правительственным кругам. Вместе с тем письма дают выразительный мате-

риал для понимания очень серьезных, принципиальных расхождений между Достоевским и Победоносцевым. Так, Победоносцеву не понравился в «Братьях Карамазовых» рассказ Ивана о страданиях детей, имевший для Достоевского первостепенное значение: «Зачем вы так расписали детские истязания!»¹⁴⁶. Не найдя в романе должного ответа на главу «Великий инквизитор», Победоносцев недвусмысленно намекает автору, что хорошо было бы переделать книгу «Русский инок»: «Когда художнику не удалась его статуя, или он не доволен, весь металл идет опять в горнило»¹⁴⁷. Достоевский не последовал этому совету.

Известно, что сведения о самоубийстве дочери Герцена сообщил Достоевскому Победоносцев. Но как разнится тон письма Победоносцева с тоном «Дневника писателя», где речь идет об этом событии. Победоносцев с грубой неприязнью отзываясь о Герцене и Огареве, а самоубийство дочери Герцена называет «трагикомедией»¹⁴⁸. Достоевский, напротив, видит здесь истинную трагедию. Сравнивая это самоубийство с самоубийством бедной швеи, выбросившейся из окна с образом в руках, он задает вопрос: «А которая из этих душ больше мучилась на земле?..». Более того, когда один из корреспондентов Достоевского, ссылаясь на предсмертную записку дочери Герцена, заявил: «смею думать, что человек, желающий приветствовать свое возвращение к жизни с бокалами шампанского в руках, не много мучился в этой жизни»¹⁴⁹, писатель гневно на него ополчился: «Какая смешная мысль и какое смешное соображение!» И далее: «Но именно эта-то записка <...> именно это и наводит на мысль, что жизнь ее была безмерно чище этого грязного выверта»¹⁵⁰. В черновой рукописи «Дневника» Достоевский с искренней симпатией пишет о Герцене, о величии его духовных исканий, что представляет резкий контраст письму Победоносцева.

И, наконец, еще один, пожалуй, самый значительный пример. Победоносцев пишет Достоевскому: «Я про себя скажу, что у меня на душе нелегко: меня крепко гнетет и давит все то, что я вижу и слышу в доступном мне кругу и во всей мимотекущей жизни. Притом многое, что знаешь и чувствуешь, приходится таить в себе и не верить людям, чтобы не нарушить в них оставшееся верование в правду людей и событий. Великое дело вера — и в делах человеческих. Мы сами иной раз не подозреваем, какую силу отнимаем у людей, легкомысленно передавая им свои впечатления и сомнения»¹⁵¹ (подчеркнуто мной. — Л. Р.). Но ведь это позиция Великого инквизитора, столь ненавистная Достоевскому и высказанная, заметим кстати, после прочтения соответствующей главы «Карамазовых». Здесь Победоносцев выступает по существу прямым антагонистом Достоевского. «Тайна» и «авторитет», которыми идеолог отгораживается от людей, заботясь якобы об их душевном спокойствии, воспринимались писателем как беспримерное унижение человеческой личности и народа в целом. В теории вдохновителя испанской инквизиции Достоевский разоблачил деспотизм и насилие, выступающие под покровом «заботы о людях». Пафос Достоевского в обратном — в полном отсутствии «тайных» идей, в открытом обращении к читателю с обсуждением самых острых и сложных проблем современности, в беспредельном доверии к свободной мысли. Ради такого широкого обсуждения всех наболевших вопросов Достоевский и издавал свой «Дневник». Записные тетради показывают, что все проблемы, волновавшие Достоевского, он предлагал читателю для обдумывания и решения, не утаивая ни одной. Он не падал читателя («жестокый талант»), и в этом проявилась высочайшая степень уважения к человеку вообще, а не только к «посвященным» и «избранным». В этом еще одно доказательство истинного демократизма Достоевского.

СПОР С Н. К. МИХАЙЛОВСКИМ

Среди оппонентов Достоевского в начале 70-х годов одно из ведущих мест принадлежит Николаю Константиновичу Михайловскому.

Для Достоевского Михайловский был не только талантливым и влиятельным публицистом, возглавившим, вслед за Салтыковым, литературно-критический отдел «Отечественных записок», но прежде всего выразителем дум нового, молодого поколения народнической интеллигенции. Писателя привлекал энтузиазм Михайловского, горячо защищавшего интересы народа, провозгласившего от имени всего поколения: «Мы

пришли к мысли, что мы должники народа. <...> Мы можем спорить о размерах долга, о способности его погашения, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем»¹⁵².

Еще до появления известной статьи Михайловского о «Бесах»¹⁵³ Достоевский, судя по записям в тетради, как бы ждет подобного критического выступления: «Нечаев — неужели нет, кто бы сказал, что это действительно гнусно» (стр. 289). В набросках незавершенного послесловия к «Бесам» Достоевский рассматривает трагедию страдающего «русского идеалиста» Кириллова, который в мире всеобщего цинизма и хаоса, когда «убеждений нет, науки нет, никаких точек упора» (там же), хочет «своим умом» найти истину. «...Молодежь без руководства бросается. Как можно, чтоб Нечаев мог иметь успех» (там же). Достоевский сетует на то, что литература выражает свой гнев и свои цели так глухо, «удержимо». Он хотел бы услышать слово духовных вождей молодежи об этих проблемах.

В статьях Михайловского Достоевский чутко улавливает главную тему разногласий с почвенниками: слово «народ» для критика «Отечественных записок» применительно к «пирамидальному» (классовому) обществу означает два разных понятия: «Народ как нация и народ как совокупность трудящихся классов общества». Михайловский пишет: «С первого взгляда кажется, что эти понятия совпадают и что, если различие их важно, то только в том отношении, что понятие нации, совмещающей в себе все классы общества, шире понятия народа, который есть только сумма известных классов. Но это далеко неверно. Что понятия нации и народа в своем практическом выражении иногда действительно совпадают, т. е. что национальное дело бывает иногда тождественно с народным делом, — это так. Но это бывает только иногда. Что же касается до сравнительной широты понятия нации, то это просто оптический обман»¹⁵⁴. Очевидно с этим тезисом Михайловского Достоевский спорит, записывая в книжке: «И когда там даже самые общие философские и социальные учения принимают национальный оттенок, у нас Н. М. толкует о том, что *национальное* вредно народу. — Все способные молодые силы обрекли себя на слепоту и глухоту социализма» (стр. 290). (Заметим, что классового антагонизма в самом крестьянстве народники 70-х годов так же, как и Достоевский, не видели, ограничиваясь противопоставлением кулаку или мироеду его жертвы — крестьянина. В этом отношении Ленин выделял лишь Глеба Успенского, который «одиноким стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию»¹⁵⁵.)

Достоевский готов к дискуссии, но предполагает, что критика намеренно замалчивает поставленные им вопросы: «об Нечаеве никто не смеет высказаться» (стр. 290).

И вот появляется запись: «Н. М. Февр<аль>» (там же). Она относится к статье Михайловского «Литературные заметки» в февральском номере «Отечественных записок» 1873 г. Статья взволновала Достоевского и душевно расположила к ее автору. Об этом свидетельствуют следующие записи, несколько иронические, но исполненные искреннего доброжелательства: «Мне так приятно, что я имею возможность говорить с человеком благодушным и горячим, так мило горячим» (там же), «Н. М. Напрасно говорят легкомысленный», «Кажется, вас определяют человеком лет 30, т. е. в первой молодости» (стр. 291).

Значение статьи Михайловского для автора «Бесов» в период его работы над «Подростком» впервые отметил А. С. Долинин¹⁵⁶. Михайловский заявлял, что «Нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом», и далее призывал писателя обратить свой взор на «бесов» национального богатства, буржуазного хищничества.

Но, быть может, всего важнее для Достоевского было то, что статья Михайловского, написанная проникновенно, с глубоким уважением к таланту писателя, с пониманием особенностей его художнической индивидуальности, была одновременно и исповеданием веры самого критика. Несмотря на враждебность автора «Бесов» к революционерам и социалистам, Михайловский остро ощущает трагизм Достоевского, понимает гуманистические истоки этого трагизма и потому откровенно (в рамках, допустимых в подцензурной печати) раскрывает перед писателем свои убеждения. Михайловский оспаривает почвеннический идеал преклонения перед

«народной правдой», противопоставляя ему служение народным интересам даже в том случае, если самим народом они еще не осознаны. В «Дневнике писателя» Достоевский называет Герцена *gentilhomme russe et citoyen du monde* (русский дворянин и гражданин мира). Именно так, с горьким чувством досады и каким-то вызовом хотел подписать свое предсмертное письмо Кириллов в романе «Бесы». Вопреки отрицательному отношению Достоевского к *citoyen'stву*, Михайловский охотно принимает этот титул для себя и своих единомышленников («...я... **вменяю** себе в честь стоять в рядах этих *citoyen'ов*»). Более того — Михайловский обнаруживает, что и самому Достоевскому вовсе не чужда «общечеловеческая» позиция: «Да, г. Достоевский, и вы *citoyen du monde*, как и мы все грешные. И тут, пожалуй, не об чем печалиться, потому что разные бывают *citoyens*, точно так же, как и народная правда бывает разная»¹⁵⁷. В том, что почвенники почитают за «народную правду», Михайловский отмечает и сильные и слабые стороны, и разум и предрассудки, а главное — называет слабостью то, что Достоевский идеализирует как силу: долготерпение. Цитируя Некрасовские стихи о бурлаках, Михайловский выделяет курсивом две строки: *«Чем хуже был бы твой удел, / Когда б ты менее терпел?»*. «Я думаю, — пишет он далее, — что г. Достоевский возмущается именно подчеркнутыми мною строками. В них выражается протест против страданий бурлака, и, может быть, протест против отсутствия протеста с его стороны»¹⁵⁸. Обращая внимание Достоевского на истинных поборников народного дела, Михайловский верит, что писатель не посмеется над ними и даже отыщет среди них «характер, достойный его кисти по своим глубоко трагическим моментам»¹⁵⁹.

Если говорить о влиянии современной критики на духовную жизнь Достоевского, статья Михайловского о «Бесах» и первых главах «Дневника писателя» 1873 г. должна быть поставлена в ряд с выступлениями Добролюбова и Салтыкова (статьи Белинского в судьбе Достоевского заняли совершенно особое, ни с чем не сравнимое место).

Как видно по записной тетради, Достоевский сразу же приступил к обдумыванию ответа Михайловскому. Противопоставляя молодого критика «староверам» типа Пыпина, «считающим себя молодыми и новыми», Достоевский упоминает «Н. М., открывшего народ (при самых добрых, впрочем, намерениях и с самыми похвальными, впрочем, целями)» (стр. 292). Достоевский вспоминает свою революционную молодость: «Мы стояли на эшафоте с верою... уезжали с надеждою» (стр. 293). Облик народолюбца Михайловского он противопоставляет «отцам»-западникам, которые развратили молодежь идеями материализма, атеизма: «Атеизм есть болезнь аристократическая, болезнь высшего образования и развития, стало быть, должна быть противна народу <...>», «О злодеи, отравившие поколение. Не вы, Н. М., корни глубже!» (стр. 294).

Достоевский хотел ответить Михайловскому с той же искренностью, с какой была написана его статья, коснуться самых основ своих убеждений, сформулировать их точнее, и поэтому не торопился. 27 июля 1873 г. в «Гражданине» (№ 2) появились «Две заметки редактора». Во второй из них Достоевский писал о необходимости отвечать разным критикам: «В конце концов и не знаешь, на что отвечать и — зачем отвечать. Такие есть; я собственно про летучую литературу нашу говорю. Но есть и не из летучих; есть, напротив, очень искренние. В этом случае я не могу забыть г. Н. М. из „Отечественных записок“ и о „долгах“ моих ему. Я не имею чести знать его лично и ровно ничего не имел удовольствия слышать о нем как о частном человеке. Но я всю душою убежден, что это один из самых искренних публицистов, какие только могут быть в Петербурге»¹⁶⁰. Намечая основную тему будущего ответа, Достоевский пишет: «Г-н Н. М. в первый раз поразил мое внимание своим отзывом о моих отзывах о Белинском, социализме и атеизме, а потом о моем романе „Бесы“. Отвечать ему по поводу моего романа я немного упустил время, хотя и хотел было, но о социализме непременно отвечу. И вообще о социализме буду писать во второе полугодие моего редакторства»¹⁶¹. Сравнивая взгляды Шатова с рассуждениями о Белинском в «Дневнике писателя», Михайловский выражал недоумение по поводу того, что Достоевский усматривает прямую связь между социализмом и атеизмом. Критик отметил одно из главных убеждений Достоевского, которое он как романист

и публицист продолжал отстаивать и в дальнейшем. Достоевского озадачило рассуждение Михайловского: «Смею уверить г. Н. М., что „дик мира сего“ мне самому даже очень не нравится. Но писать и доказывать, что социализм не атеистичен, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его,— это чрезвычайно поразило меня в писателе, который, по-видимому, так много занимается этими темами. Пишу теперь обо всем этом к слову, именно, чтоб показать на примере, как трудно теперь у нас в литературе рассуждать или спорить с кем-нибудь и о чем-нибудь, даже с непритворяющимися и простодушнейшими людьми. (NB. Простодушние вовсе не исключают ни ума, ни таланта.) Об г. же Н. М. я именно вспомнил потому, что все хочу ему ответить, но никак не удастся»¹⁶². И хотя специальной статьи по этому поводу Достоевский так и не написал, его ответ Михайловскому содержится во всех последующих произведениях. Размышлениям о внутренней связи между социализмом и атеизмом посвящены многочисленные записи в публикуемых тетрадях 70-х годов. Некоторые из них прямо обращены к Михайловскому: «...Новая вера, новые основания нравственности, старые отвергнуты, напрасно Н. М. сердится за то, что атеисты» (стр. 441); «Церковь атеистов. Знает ли наука натуру человека. За хлеб захочет ли отдать жертвы. <...>Атеизм из „Подростка“ <...> Зачем у нас Михайловский. Это закон» (стр. 450); «О Европе мы можем теперь, после 2-х веков заключить, что христианством они не взяли, хотят взять наукой, социализмом. Отрицание христианства не во гнев Н. Михайловскому» (стр. 547).

Зато другой важный вопрос, затрагивающий уже не теорию, а практику социалистов с полемической ориентацией на рассуждения Михайловского был поднят Достоевским в последней главе «Дневника писателя» 1873 г. Но еще до этого Достоевский спорил с Михайловским, не называя его имени, о проблемах эстетических в статье «По поводу выставки» («Гражданин», 1873, № 13, 26 марта). В январской книжке «Отечественных записок» Михайловский выступил с защитой тенденциозного искусства, отводя собственному художественному творчеству подчиненную роль. «Я утверждаю,— заявлял он,— что пока литература не станет голосом общественной совести в самом широком смысле, пока она не сделает интересов народа центром своих исследований, помыслов и образов, ей не помогут никакие таланты...»¹⁶³. Михайловский заявлял, что не знает стихотворения более высокохудожественного и вместе с тем более тенденциозного, чем «Песня о рубашке» Томаса Гуда. В набросках для ответной статьи Достоевский отмечает основную ошибку критика — недооценку идейной силы подлинного искусства, если в нем нет открытой тенденции: «...Не все эстетические вопросы суть вопросы праздного любопытства. В этом смысле какая великая вещь искусство?» (стр. 292). «Я ужасно боюсь „направления“, если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща,— пишет Достоевский, обращаясь к Михайловскому в уже законченной статье,— и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого назвать теперь не хочу,— поверит ли он, что всякое художественное произведение, без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь „направительное“,— поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют „удовлетворением праздного любопытства“?»¹⁶⁴ (Слова о «праздном любопытстве» и в записной тетради Достоевского, и здесь — взяты из статьи Михайловского).

И наконец, последнее выступление Достоевского в «Гражданине» на темы, поднятые Михайловским,— статья «Одна из современных фальшей». Главный адресат статьи не назван, даже «засекречен». Сначала речь идет о нелепой попытке газеты «Русский мир» «защитить» молодежь, обвиняемую реакционной прессой после нечаевского дела. Ограждая молодежь от нападков, «Русский мир» называет нечаевцев шалопаями, «идиотическими фанатиками» и т. п. Достоевский решительно возражает против такой огульной характеристики нечаевцев, вспоминает о своих товарищах-петрашевцах, людях образованных и высокоидейных. Исследователи Достоевского

давно обратили внимание на эту новую оценку революционеров автором «Бесов», который, вернувшись на родину, имел возможность лучше узнать русскую передовую молодежь. Однако концепция статьи Достоевского не исчерпывается этой важной ее особенностью. Для понимания точки зрения Достоевского в целом нужно иметь в виду, что она прежде всего обращена к Михайловскому. Именно о нем говорят первые строки статьи: «Некоторые из наших критиков заметили, что я, в моем последнем романе „Бесы“, воспользовался фабулой известного Нечаевского дела». Мы уже видели, что первые наброски воспоминаний о том, как петрашевцы стояли на эшафоте, сделаны сразу же после прочтения статьи Михайловского. Достоевский не согласен с тем, кто относится к нечаевцам как явлению случайному, «уединяя случай и лишая его права быть рассмотренным в связи с общим целым»¹⁶⁵. Ему кажется, что слово «монстр», употребленное Михайловским, мало отражает смысл явления: «даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми»¹⁶⁶. Впрочем, «„монстров“ и „мошенников“ между нами, „петрашевцами“, не было ни одного», — утверждает Достоевский. Он проводит грань между «теоретическим социализмом» своей молодости и современным «политическим социализмом», преследующим, по его мнению, лишь цели разрушения. Высоко ценя прекрасные душевные стремления молодежи, мечтающей о переустройстве несправедливого мира, Достоевский, в отличие от Михайловского, не считает возможным противопоставить ее нечаевцам: и Нечаеву могли поверить и верили люди, чистейшие сердцем, да и само убийство Нечаев без сомнения представлял своим жертвам как акт необходимый для «общего и великого дела». Наконец, — самый сильный аргумент, личное признание писателя: «*Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности»¹⁶⁷. Да, Достоевский не посмеялся над революционной молодежью, что предчувствовал Михайловский, он признал подвижников социализма людьми близкими себе психологически, чья судьба в современных условиях действительно трагична. Все это сближало его с критиком «Отечественных записок», но до определенного предела, ибо конечный результат всех благородных усилий революционеров он по-прежнему отвергал как «мрак и ужас, готовимый человечеству, в виде обновления и воскресения его»¹⁶⁸.

В записных тетрадах к «Дневнику писателя» 1876 г., адресуясь уже прямо к Михайловскому, Достоевский вновь горячо доказывает, что невозможно изображать революционеров людьми непричастными к кровопролитиям, ибо революции никогда не происходят без крови и огня. Достоевский считает нелепостью самую мысль, что пожар Тюильри возник случайно или из-за шалости каких-то бездельников. По его мнению, думать так — значит лишать событие его грандиозных масштабов и низводить революционеров на уровень мелодраматических героев Коцебу. «...Не лишайте исторического факта его величавости» (стр. 379). Дискуссия с Михайловским имела немалое значение для последующего творчества писателя. Выводы, к которым пришел Достоевский в результате размышлений над психологией нового поколения переломовой русской молодежи, побудили его отказаться от памфлетного («с плетью в руках») изображения революционеров, социалистов и атеистов. Не только в «Подпольстке», но главным образом в «Братьях Карамазовых» преобладает глубокий интерес к сложному интеллектуальному и душевному миру «желторотых» русских «мальчиков», которым прежде всего нужно «мысль разрешить» (Иван) или же найти исход «из мрака мирской злобы к свету любви» (Алеша). Свидетельство Суворина о том, что в дальнейшем развитии романа Алеша должен был стать революционером, лишь раз подчеркивает характерную направленность идейных исканий позднего Достоевского, хотя его отношение к «политическому социализму» оставалось неизменным.

Вероятно в произведениях Достоевского нет более выразительного примера глубоко противоречивой и вместе с тем близкой, «интимной» связи писателя с молодым поколением бунтарей, чем фигура Ивана Карамазова. С наименьшим правом, чем о Ставрогине, Достоевский мог бы сказать об Иване: «Я из сердца взял его». Неотразимые аргументы гуманиста против несправедливо устроенного мира, основанного на страдании человечества, страстная защита ни в чем неповинных детей, бескомпромиссная жажда истинной гармонии, как и самый масштаб философской мысли, —

все это перешло к Ивану непосредственно от автора. В этом дополнительно убеждают нас и многие главы «Дневника писателя» и, как будет показано ниже, записные тетради к нему. Но круг интересов Ивана, образ его мысли одновременно соотнесены с духовным обликом того поколения русской молодежи, одним из выдающихся деятелей которой был Михайловский (кстати, Иван — ровесник его, в 1865—1866 гг., когда происходит действие романа, Ивану тоже было 23 года). Ни о какой «прототипности», разумеется, здесь нет речи, и вместе с тем Ивана трудно себе представить, не учитывая этой связи. Юноша гениальных способностей, естественник по образованию, широко начитанный в области гуманитарных наук, журналист, известный в литературных кружках, Иван Карамазов подчас оперирует теми же понятиями, с которыми мы встречаемся в статьях Михайловского. Возьмем для примера две из них: «Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель» (1870) и «Что такое счастье?» (1872). В обеих рассматривается отношение разумного и нравственного человека к миру, построенному на несправедливости и страданиях.

Для Михайловского, как впоследствии для Ивана, неприемлема телеологическая точка зрения, идея, что мир устроен целесообразно и в конце концов его развитие завершится счастьем и всеобщим примирением. Михайловский восстает против всех подобных теорий от Марка Аврелия до Спенсера. «...Уже самые термины „представленная гармония“, „предопределенное счастье“ не вяжутся с именем Спенсера», — заявляет критик¹⁶⁹. Несколько ниже Михайловский цитирует «Социальную статику» Спенсера: «Сомневаться в предусмотрительности и в действительности законов природы и предполагать с бесконечною самоуверенностью, что человеческое суждение может быть безошибочным, — вот настоящее неверие, вот истинный атеизм, пусть человек оставит свою неуместную претензию критиковать великий божий мир с точки зрения своего кусочка мозга»¹⁷⁰. И вот отповедь «истинного атеиста» Михайловского: «...Я вполне удерживаю за собой право „критиковать великий божий мир с точки зрения своего кусочка мозга“. Я утверждаю, что ни в природе, ни в обществе нет такого равновесия, в силу которого за преступлением само собой следует наказание. Я утверждаю, что нравственный закон существует только в нашем сознании. Я, грешный человек, которого вы не хотите знать, я дошел до этой истины не только отвлеченными рассуждениями, я на своих плечах вынес ее из жизни»¹⁷¹. Иронизируя над «великим счастьем» вольтеровского Панглосса, Михайловский пишет: «мы можем только стоять у врат „потерянного рая“, стоять и вздыхать»¹⁷².

Вспомним теперь Ивана Карамазова, разговор его с Алешей в главе «Бунт»: «О, по моему, по жалкому земному, эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже на земле, и чтоб я его сам увидел <...> Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу <...> Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно»¹⁷³.

В литературе о Достоевском отмечалось сходство идей Ивана Карамазова с программным письмом Белинского Боткину 1 марта 1841 г. Впервые это письмо в сокращенном виде было опубликовано Пыпиным в «Вестнике Европы» 1875 г., № 2 в работе «Белинский. Его жизнь и переписка». Отвергая «разумную действительность», Белинский писал, как бы обращаясь к Гегелю: «...если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II, и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови...»¹⁷⁴ Конечно, Достоевский прочитал это письмо в «Вестнике Европы», но обратим внимание и на то, что через несколько месяцев, в ноябрьской книжке «Отечественных записок» он увидел, с каким горячим сочувствием цитирует его Михайловский (статья «Прудон и Белинский»). Несколько ниже Михайловский писал, что присоединяет

«свой голос к голосу великого критика»¹⁷⁵. Это было очень важно для Достоевского. Внимание писателя, конечно, привлекли и слова Михайловского о современных русских юношах, ищущих правды вслед за Белинским: «Как ни велик Белинский, но он — не исключительная единица, а русский тип. <...> Я думаю, что даже именно теперь, среди отвратительных кувырканий из-за целкового и безобразнейшего забвения самых элементарных нравственных правил, — мучается в разных углах России много маленьких невидных незаметных Белинских, без его блестящего таланта, без его других умственных качеств, но не менее его жаждущих цельной правды и готовых ей отдаться. Литература этими людьми не занимается, отчасти по причинам от нее независящим, отчасти по привычке сосредоточивать свое внимание на явлениях, всплывающих на поверхность общественной жизни»¹⁷⁶. «Европейских людей поражает смелость русского отрицания», — добавлял Михайловский, формулируя свою мысль в словах, столь близких сердцу Достоевского.

Прямое отношение к трагедии «русского Фауста» Ивана Карамазова имеют и следующие слова Михайловского из статьи «Что такое счастье?»: «Велико несчастье человека, которому приходится расставаться с утешительным и давно усвоенным верованием. Горько смотреть, как ветер разносит во все стороны обрывки идеала. Не все даже способны перенести это глубокое несчастье; известно, что моменты крутых переломов в истории отмечаются большим количеством самоубийств. (Ср. «иначе ведь я истреблю себя». — Л. Р.) Возможны, конечно, различные колебания и старания задержать улечивание счастья, сопряженного с тою или другою иллюзией. Но, в конце концов, Фауст не возьмет счастья Вагнера...»¹⁷⁷.

В той же статье Михайловского Достоевский мог обратить внимание на его критику Спенсера, который отвергал стремление «утилитаристов» «поправлять ошибки Всеведущего»¹⁷⁸. В «поэме» Ивана Великий инквизитор, в деятельности которого, по мысли Достоевского, соединены идеи социализма и католицизма, говорит Христу: «Я воротился и прикинул к сонму тех, которые *исправили подвиг твой*»¹⁷⁹.

Достоевскому дорог Иван, как и все «русские мальчики», ищущие справедливости, он показывает, к какому глубокому душевному кризису привело его героя осознание внутренней связи между атеистической теорией и принципом «все дозволено», развязавшим руки Смердякову («монстр»!). Он хотел бы увести молодежь в область религиозной нравственности. Этому посвящены многие страницы «Дневника писателя» и непрекращавшийся диспут с Михайловским.

В записных тетрадях Достоевского мы встречаем полемические заметки, относящиеся и к другим выступлениям Михайловского. В 1875 г. Достоевский спорит с некоторыми положениями статьи «Десница и шуйца Льва Толстого» («Отечественные записки», 1875, № 5). Михайловский сочувственно отнесся к мысли Толстого из статьи «Прогресс и определение образования», что из всей русской истории только 1612 г. и 1812 г. могут сыграть роль в патриотическом воспитании¹⁸⁰. Достоевский видит в таком мнении отголоски «западничества». «...Всякий факт нашей жизни, если осмыслить его в русском духе, будет драгоценен детям...», — замечает он (стр. 310).

Почвеннический взгляд на народное счастье отстаивает Достоевский и в следующей записи: «НВ. Ренан — славянофил. Крестьяне смотрят на пышную свадьбу своего господина и радуются, Михайловский и Толстой негодуют на мужиков на том основании, что пышность свадьбы их господина нисколько не увеличивает их благосостояния...» и т. д. (там же).

В сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1872 г. Михайловский критиковал рецензию Страхова в «Гражданине» на книгу Ренана «La réforme intellectuelle et morale». Поскольку Ренан «ставил прошлое выше настоящего», Страхов назвал его чем-то «вроде французского славянофила». Ренан идеализировал патриархальные времена, когда крестьянин, глядя на свадьбу своего господина, ему не завидовал. «В настоящем состоянии общества, — писал Ренан, — преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было». Полемику со Страховым Михайловский продолжил в уже цитированной статье о Толстом: «Любопытно, что г. Страхов <...>, которого нельзя себе представить рядом с

гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе и который, впрочем, столь же охотно преклоняет колени перед г. Н. Данилевским и — я не знаю — может быть, даже перед кн. Мещерским; любопытно, что г. Страхов вполне согласен с Ренаном (...). Но, говорит г. Страхов, Россия гарантирована от толков об „общем благосостоянии“ и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен „житейский материализм“. Увы! На эти гарантии положил руку не кто иной, как — *horribile dictu**! — Лев Толстой¹⁸¹. Достоевский в этом споре — на стороне Страхова.

Полемiku между Достоевским и Михайловским характеризует спокойствие тона, личная благожелательность, внимание к аргументам друг друга. Этим она до определенного времени резко отличалась от взаимного раздражения и оскорбительных нападок, которыми была переполнена журнальная борьба «Современника» и «Эпохи».

Нет сомнения, что основную направленность критики Михайловским Достоевского разделяли руководители «Отечественных записок» Некрасов и Салтыков. Сближению Достоевского, так же как и Толстого, с передовым органом русской демократии в большой мере способствовали статьи Михайловского. Анализируя глубокие противоречия творчества Достоевского как одного из выдающихся писателей современности, Михайловский шел вслед за оценкой Салтыковым романа «Идиот» в рецензии 1869 г. Приглашение печататься в «Отечественных записках», сделанное Некрасовым Достоевскому в апреле 1874 г., было, разумеется, одобрено Салтыковым, ведавшим отделом прозы. В январской книжке журнала за 1875 г., где появились первые главы «Подростка», напечатаны и «Записки профана» Михайловского, в которых критик пишет, что его суждения о Достоевском разделяются всей редакцией. Видимо, редакция «Отечественных записок» сочла необходимым разъяснить читателю, почему она печатает новое произведение автора «Бесов». «Я уже говорил однажды, — пишет Михайловский, — именно по поводу „Бесов“, о странной и прискорбной мании г. Достоевского делать из преступных деяний молодых людей, немедленно после их раскрытия, исследования и наказания, тему для своих романов. Повторять все это тяжело, да и не нужно. Скажу только, что редакция „Отечественных записок“ в общем разделяет мой взгляд на манию Достоевского. И тем не менее „Подросток“ печатается в „Отечественных записках“. Почему? Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов, во-вторых, потому, что сцена у Дергачева со всеми ее подробностями имеет чисто эпизодический характер. Будь роман на этом именно мотиве построен, „Отечественные записки“ принуждены были бы отказаться от чести видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, даже если б он был гениальный писатель»¹⁸².

Два года спустя в статье о романе Тургенева «Новь» («Отечественные записки», 1877, № 2) Михайловский причисляет Достоевского к «нашим любимым писателям». «Есть у нас и другие крупные таланты, не ниже тургеневского, с которыми, однако, читатели не обходятся так деспотически. Если новое произведение, например, Толстого, Достоевского вызывает иногда сожаление, что автор взял не ту тему, которую, по тем или другим соображениям, должен был взять, если даже кое-кто берется при этом указывать им сюжеты, достойные их пера (здесь, видимо, Михайловский имеет в виду и свою статью о «Бесах». — Л. Р.), то все эти требования, сожаления, указания предъявляются применительно к свойствам таланта писателя или в кругу знакомых ему явлений. В общем мы своих наличных любимых писателей знаем удовлетворительно»¹⁸³. Далее следует характерное перечисление. Говоря об отзывчивости больших русских писателей на вопросы, которые волнуют общество, Михайловский пишет: «Это-то мы рассчитываем получить и от Толстого, и от Достоевского, и от Островского, и от Некрасова, и от Щедрина»¹⁸⁴. Сотрудничество в «Отечественных записках», судя по наброскам повести о современном человеке (с указанием — «Некрасову»), Достоевский предполагал продолжить и в 1876—1877 годах (см. стр. 618, 623).

Михайловский открыл для историков русской литературы очень значительную тему: сопоставление творчества Толстого и Достоевского. «Я не помню, — отмечал

* страшно сказать (лат.).

он, — чтобы кому-либо из наших критиков приходило на мысль изучать их вместе, параллельно, а это было бы весьма плодотворно. Оба они заняты в своих произведениях психологическим анализом, но светлый, ровный, жизнерадостный мир одного и мрачный, исключительный, напряженный, мистический мир другого могли бы очень рельефно оттеняться»¹⁸⁵. Для самого Достоевского, особенно в середине 70-х годов, также характерно стремление осознать свою деятельность рядом с творчеством Толстого. В «Подростке», например, прямо заявлено намерение показать «случайное семейство» и изменчивую, «текущую» действительность в отличие от картин устоявшегося быта, которые до сих пор изображал «историограф русского дворянства» Лев Толстой. В первой записной тетради к «Дневнику писателя» 1876 г. есть две интересные заметки Достоевского о себе и о Толстом. В одной речь идет об изображении народного характера: «Ибо кто не верит в красоту народа, тот ничего в нем <не> понимает. Не в сплошную красоту народа, а то, что он внешне уважает. <...> Я Макара. Лев Толстой Каратаева» (стр. 430). В другой записи упоминается сотрудничество обоих писателей в «Отечественных записках»: «Лев Толстой напечатал лишь самую суть своих убеждений, а я лишь роман, поэму, образный вымысел» (стр. 400).

Михайловский проявлял серьезное внимание к тем философским вопросам, которые волновали и Достоевского. Проблема отношения личности к миру, «я» и «не я», как она формулируется в классической немецкой философии, стала предметом статьи Михайловского «Борьба за индивидуальность» (1875). Причем, как и у Достоевского, интерес Михайловского к этой проблеме имеет не умозрительный характер, а продиктован задачами социальной борьбы и нравственного воспитания.

Неослабевающий взаимный интерес, сближение и отталкивание определяют сложные литературные отношения Достоевского и Михайловского на протяжении 70-х годов.

Одним из самых серьезных пунктов разногласий был вопрос о роли народа и передовой интеллигенции в судьбе России. В то время, когда целые десятилетия отделяли «шосе от жатвы», когда крестьянская масса «спала глубоким сном», а первые хождения в народ показали, что его заступники остаются непонятыми и принимаются даже враждебно, Достоевский все более утверждался в мысли о необходимости принять «народную правду». Ему казалось, что, пропагандируя идеи революции, интеллигенция действует вопреки лучшим традициям народной жизни, что, безгранично доверившись силе разума, она проявляет неуважение к народным идеалам. «Лик мира сего вы своими теориями разума мало измените», — записал Достоевский в тетради, обращаясь к Михайловскому и его единомышленникам. «...Если народ вас не послушается, то вы тотчас же на него рассердитесь и от него отступитесь. И какие же вы деспотики! <...> Да он прямо скажет вам, что это неразумно, потому что вы предreshаете природу его» (стр. 290). В идеологии и практике народничества 70-х годов Достоевский с тревогой улавливал те элементы, из которых впоследствии выросла теория «героя и толпы»: противопоставление активной личности пассивной массе. Но обличая «гордыню» интеллигенции, писатель приписывал эту черту русским революционерам вообще. Он обвинял их в пренебрежении к народу, готовности распоряжаться его судьбой, без всякой на то санкции самого народа.

27 декабря 1877 г. умер Некрасов, его похороны превратились в событие огромного общественного значения. Речь Достоевского на похоронах была первым публичным выступлением, где он страстно, лицом к лицу с демократической молодежью пропагандировал свои убеждения. Перед ним были поклонники великого поэта, горячие приверженцы направления «Отечественных записок», единомышленники Салтыкова и Михайловского. В речи Достоевского, которую он подробно пересказал в последнем выпуске «Дневника писателя» 1877 г., в оценке Некрасова — поэта и гражданина отчетливо сказались и то, чем Достоевский был близок к «Отечественным запискам», и то, чего он не мог «уступить» нигде, даже у открытой могилы человека, с которым так тесно связала его судьба. Говоря о Некрасове, Достоевский воссоздает образ «кающегося дворянина», человека «чести и долга» из той плеяды подвижников, о которой так часто писал Михайловский. Самого Достоевского, как это можно видеть из цикла статей «В перемену» (1876—1877 гг.), Михайловский причислял к людям

«чести и долга». Анализируя взгляды Николая Семеновича на дворянство (в романе «Подросток»), Михайловский отделяет его от автора. «Николай Семенович ищет совсем не того, — пишет критик, — что можем представить мы, кающиеся дворяне»¹⁸⁶; «Ясно, что Николай Семенович и г. Достоевский — два совсем разные лица. Николай Семенович — просто преданный дворовый, а г. Достоевский, может быть, даже согласится со мной, что мы, дворяне, недавно только *начали*, то есть начали вырабатывать формы чести и долга и начали именно покаянием»¹⁸⁷.

Некоторые мотивы поэзии Некрасова и образ «кающегося дворянина» во многом определили характеристику Некрасова Достоевским: «Нет, Некрасов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со страстью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции. Не говорю в будущем, — в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучше и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходить в очень тяжкие минуты свои к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать свое измученное сердце, — ибо любовь к народу у Некрасова была лишь *истодом его собственной скорби по себе самом...*»¹⁸⁸. Как известно, в речи о Некрасове Достоевский решительно разошелся с теми, кто ставил покойного поэта выше Пушкина. Защита своего общественного и литературного идеала он посвящает много места и в статье о Некрасове. Но в рукописи этой статьи сохранились замечательные строки, не вошедшие в печатный текст и представляющие как бы формулу высших исканий истины, которые не могут считаться ни с какими кумирами, как бы велики они ни были: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, и потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее»¹⁸⁹. Но мужественное стремление к высшей правде в реальной практике Достоевского нередко уступало тяжёлым заблуждениям.

События первых месяцев 1878 г. обнаружили, что Россия вступила в новый период общественного развития, который Ленин определил как время второго демократического подъема в России. Волна революционных настроений стремительно нарастала. 24 января Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова. 31 марта петербургский окружной суд вынес ей оправдательный приговор. На заседании суда среди других представителей печати был и Достоевский. Как писал Степняк-Кравчинский, «оправдание Веры Засулич было торжественным осуждением всей системы произвола, которая заставила эту девушку поднять на палача свою мстительную руку. Печать и общество единодушно приветствовали приговор присяжных»¹⁹⁰. Достоевский видел тысячную демонстрацию, которая возле здания суда встречала освобожденную Засулич. 3 апреля в Москве состоялась студенческая демонстрация, над которой учинили жестокую расправу мясники и торговцы Охотного ряда.

Перед нами два документа. Не требуя комментариев, они обнаруживают глубокую пропасть, что легла после первых революционных событий между Достоевским и Михайловским.

Один из них — подпольный «Летучий листок», написанный Михайловским в апреле 1878 г.¹⁹¹, второй — письмо Достоевского группе студентов (18 апреля)¹⁹². Достоевский называет настоящее время «мучительным», Михайловский — «тревожным», но «решительным». Михайловский славит героизм молодежи, «гибнущей в тюрьмах и на каторге», Достоевский называет ее «Панурговым стадом», которое попало «в руки какой-то совершенно внешней политической партии», использующей ее как материал. Михайловский недвусмысленно намекает на то, что действия охотнорядцев поощрялись правительством: «Оно вызывает Засулич на суд за расправу над генералом Треповым и безмолвно назначает генерал-губернатором Москвы цех мясников и Охотный ряд». Достоевский, напротив, отождествляет охотнорядцев с народом: «Почему мясники не народ? Это народ, настоящий народ, мясник был и Минин». Наконец, на вопрос, что делать, Михайловский отвечает: «*Общественные дела должны быть переданы в общественные руки*. Если этого не будет достигнуто в формах представительного

правления с выборными от русской земли, в стране должен возникнуть тайный комитет общественной безопасности. И тогда горе безумцам, становящимся поперек путей истории!» Достоевский в это же время призывал студентов «разучиться презирать народ», «уверовать и в бога». И еще одно: автор «Листка» настроен приподнято, оптимистически, Достоевский мрачен, подавлен.

Поворот молодежи к революции противоречил социальной утопии Достоевского о реальной возможности братского единения всех сословий современной России. Эта мечта казалась ему особенно близкой к осуществлению летом 1876 г., в начале войны за освобождение славян, когда патриотический подъем охватил все слои общества и самые разные по направлению органы печати поддерживали энтузиазм русских добровольцев. Однако дальнейшее развитие событий отнюдь не сгладило социальных противоречий внутри страны, а, напротив, обострило их. «Не щадя своих сил и проливая свою дорогую кровь за свободу и независимость других народностей, — писала газета «Русское обозрение» 23 ноября 1877 г., — русский народ вправе желать также жить полной свободой в европейском смысле этого слова». На вопрос: «Чем же Засулич стала так дорога обществу?» Михайловский отвечал: «Она не могла допустить мысли, чтобы <...> русский генерал мог безнаказанно совершать турецкие зверства в столице державы-освободительницы».

В «Дневнике писателя» 1877 г., видимо осознав иллюзорность своей надежды на то, что в результате войны в России возникнет социальная гармония, Достоевский с особенным жаром обсуждает проблемы внешней политики, поддерживая правительственный курс, заявляя, что «Константинополь должен быть наш». «Все без сомнения помнят, — писал Михайловский, — гениальную простоту, с которой г. Достоевский в „Дневнике писателя“ же разрешал восточный вопрос. Он тогда тоже прорицал и именно прорицал, что мы возьмем Константинополь, и что все это произойдет чрезвычайно просто. Помните, писал он, как с Казанью было: взяли русские Казань, и татары стали торговать мылом и халатами, так и с Константинополем будет. Прорицание немножко не осуществилось...»¹⁹³.

Революционные события развели Достоевского и Михайловского в противоположные стороны, они осознали себя деятелями двух разных партий. И хотя впоследствии Достоевский будет еще много размышлять и о земском собрании, включая его в свою политическую программу («призовите серые зипуны»), и о многих других вопросах, поставленных народниками на очередь дня, его отношение к Михайловскому не станет прежним.

Но как ни глубоки и жестоки были заблуждения писателя, ими невозможно определить ту огромную сферу противоречивой, мучительной мысли, которая называется «идеология Достоевского».

Достаточно сказать, что именно весной 1878 г., прекратив на время издание «Дневника», Достоевский погружается в работу над романом «Братья Карамазовы», в котором приговор гуманиста несправедливо устроенному миру прозвучал с такой силой, как никогда прежде. И одним из непреложных оснований для этого приговора был рассказ о затравленном ребенке. Видимо, и Достоевский, говоря словами Михайловского, «не мог допустить мысли, чтобы <...> русский генерал мог безнаказанно совершать «турецкие зверства...»

«ОТЦЫ И ДЕТИ». НА ПОДСТУПАХ К «БРАТЬЯМ КАРАМАЗОВЫМ»

Из всех общественных и нравственных тем, затронутых в «Дневнике писателя» и соответственно в записных тетрадах, одной из самых значительных представляется тема «отцов и детей». Она имеет несколько аспектов: социальный, исторический и философский. Начатая, по словам Достоевского, еще в «Подростке», а в сущности даже в «Бесах» и в неосуществленном замысле «Жития великого грешника», она затем широко развернулась в «Братьях Карамазовых». «Дневник» явился своеобразной подготовкой нового решения этой темы в последнем романе. В записях сохранился план романа под названием «Отцы и дети», первым толчком к которому было, очевидно,

сообщение в газете «Голос» «об убийстве мещанки Перовой и о самоубийстве ее убийцы»¹⁹⁴. Как и в рассказе «Кроткая», в плане романа «Отцы и дети» исходный реальный сюжет до неузнаваемости преобразован. Если в «Бесах» проблема «отцов и детей» ставилась исключительно в плане социально-историческом: два этапа русского «прогрессизма», либералы 40-х годов и революционеры 60-х годов (отец и сын Верховенские), то в «Подростке» она рассматривается значительно шире. В уже ином авторском освещении здесь опять-таки присутствуют два поколения русского общественного движения — Версилов и Долгушинцы.

Появление нового и центрального героя, Аркадия Долгорукого, дает читателю возможность увидеть, как с детских лет под влиянием различных обстоятельств, в процессе напряженной внутренней борьбы определяется психологический склад подростка. Но чтобы решить центральный вопрос о сущности человеческой природы, Достоевский должен был спуститься еще «ниже», исследовать не только подростковый, но детский и даже ранний детский возраст, что он и делает в «Дневнике писателя» и записных тетрадах к нему. Достоевский ставит перед собой труднейшую задачу — раскрыть психологию ребенка, чтобы понять первоначальную сущность природы человеческой, и здесь его вывод на редкость определен и как бы возвращает нас к истокам мировоззрения писателя — утопическому социализму и, в частности, к ранней повести «Неточка Незванова».

Достоевский настаивает на изначальной безгрешности человеческой души — чистой и доверчивой души ребенка. «Дети странный народ, они снятся и мерещатся», — признается писатель. Излюбленные герои «Дневника» — дети от шести до двенадцати лет. «Мальчик с ручкой» — «не более как лет семи», «мальчик у Христа на елке» — «еще очень маленький, лет шести или даже менее». В воспоминаниях о себе: «Мне было тогда всего лишь девять лет отроду»¹⁹⁵; о Кронеберге: «отец выскреб ребенка, семилетнюю дочь»¹⁹⁶. В воспитательном доме — «группы пяти- и шестилетних девочек»¹⁹⁷. Корнилова выбросила из окна «маленькую падчерицу, шести лет»¹⁹⁸. В рассказе «Анекдот из детской жизни»: «Живут на краю Петербурга и даже подальше, чем на краю, одна мать с двенадцатилетней дочкой»¹⁹⁹. (Этот возраст (двенадцати или тринадцатилетний) необычайно интересен, в девочке еще больше, чем в мальчике, — замечает автор.) В главе «Именинник» «Дневника писателя» 1877 г. приводится сообщение о самоубийстве «12—13-летнего отрока, воспитанника прогимназии». Во второй главе февральского выпуска рассказывается о «девочке лет восьми или девяти», которая часто падает в обморок от воспоминания: своими глазами видела, как с отца ее сдирали кожу». В «Сне смешного человека» большую роль играет «девочка лет восьми». Дети всегда волновали воображение Достоевского. Из русских писателей прошлого века он, вероятно, более всех был занят этой темой. Неточка Незванова, «маленький герой», Илюша и Сашенька в «Селе Степанчикове», Нелли в «Униженных и оскорбленных», дети Мармеладовых в «Преступлении и наказании» и т. д. и т. д. вплоть до мальчиков в «Братьях Карамазовых».

Физические и нравственные страдания детей были в глазах Достоевского неопровержимым обвинением порочно устроенной жизни всего остального человечества. В испорченности, озлобленности и ожесточенности ребенка Достоевский, как правило, видел следствие пагубного влияния взрослых, а в детском, часто отчаянном протесте — голос совести и справедливости. Анализ детской психологии был необходим Достоевскому ввиду той высшей нравственной цели — «найти человека в человеке», которую он ставил перед собой. Вот его кредо: «Слушайте: мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. А потому мы их должны уважать и подходить к ним с уважением к их лику ангельскому (хотя бы и имели их научить чему), к их невинности, даже и при порочной какой-нибудь в них привычке, — к их безответственности и к трогательной их беззащитности»²⁰⁰. В «детской теме» «Дневника писателя» полностью подготовлена концепция Ивана Карамазова о природной чистоте и безгрешности детской души и решительный отказ оправдать ту систему общественных отношений, которая приносит страдания детям, равно как и религиозную догму, готовую признать нормальным

существующий порядок вещей. В этой важнейшей области бунт Ивана Карамазова поддержан Достоевским безоговорочно. Нигде, как в «Дневнике писателя», убеждение Достоевского, что ребенок (человек) от природы добр, не заявлено с такой определенностью. Вместе с тем, по мере того как ребенок растет и приобщается к миру взрослых людей, он становится им подобным, вступая на путь «обособления», эгоизма, лишаясь непосредственности. Достоевский внимательно изучает все социальные, исторические и национальные влияния на психологию человека, но считает, что они одни не исчерпывают природы эгоизма.

«Ясно и понятно, до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла», — заявляет он в известной статье об «Анне Карениной»²⁰¹. При цитировании этой статьи обычно обращается внимание на слова о том, что «душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: „Мне отмщение и аз воздам“».

Однако Достоевский не останавливается на констатации вечного трагизма человеческой жизни, в его интонации нет обреченности. Ссылаясь на сцену родов Анны, Достоевский обращает внимание на «исход», указанный здесь Толстым, «чтоб не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла» (подчеркнуто мной. — Л. Р.). Как всегда, Достоевский связывает этот исход с христианским идеалом, воплощающим для него истинную нравственность. Нам важно, в отличие от обычной трактовки этого рассуждения Достоевского, подчеркнуть, что при всем убеждении в глубинных истоках зла писатель вовсе не считал обреченной борьбу со злом. По его мнению, эта борьба — в силах человеческих. Он отмечает, что в романе Толстого «враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев все простивших друг другу». Даже в картине самоубийства Анны Достоевский не видит окончательного торжества зла, поскольку «страсть отминовения» была принимаема «душой вместо света»²⁰².

Отношение к детям всегда было для Достоевского важнейшей характеристикой человека. В этом смысле особый интерес представляют две записи о Салтыкове, сделанные в 1876 г.: «Он прав: *Без детей нет ни брака, ни семейства, ни жизни*». С полным сочувствием к этим словам, сказанным очевидно в личной беседе, Достоевский продолжает: «Благородного подвига жаждут, ни бог, ни судьба не пошлет, а дети и неспособного на благородный подвиг дадут сделать благородное. — Дети благородят» (стр. 629). Вероятно, во время этой встречи Достоевский видел Салтыкова с сыном или дочерью (им было в то время соответственно пять лет и три года). Может быть, даже в этой связи и начался разговор о детях. Во всяком случае Достоевскому запомнился «Щедрин, ласкающий ребенка» (там же). Нужно знать Достоевского, чтобы понять, как много желчных полемических нападок перевешивает эта короткая запись.

По мнению Достоевского, известному нам еще из записей 60-х годов («Маша лежит на столе...», «Социализм и христианство»), в сознании цивилизованного человека существует мучительное единоборство эгоизма и альтруизма, «я» и «не я». В той мере, в какой человек способен достичь нравственного совершенства, он, отнюдь не жертвуя своей «взрослостью», всем богатством сложного интеллектуального мира, сближается с ребенком в чистоте и непосредственности восприятия. С точки зрения Достоевского, этапы духовной жизни отдельного человека как бы повторяют периоды исторического развития человечества. Соприкосновение с ребенком заставляет звучать тот нравственный камертон, по которому человек, даже оказавшийся на грани катастрофы, может настропить свой внутренний мир на представления высшие, подлинно гуманные. Таков сюжет «Сна смешного человека». Решив покончить самоубийством, герой рассказа оттолкнул несчастную девочку, обратившуюся к нему с мольбой о помощи. Оттолкнул потому, что уже решил покончить все с жизнью, был уверен, что теперь ему уже «все равно». Но именно девочка и спасла его, так как неожиданно пробудила чувство боли, похожее на угрызения совести. «Смешной человек» недооценил того, говоря словами Достоевского из другой статьи, «нравственного фонда», который

был в его душе. Увидев во сне две стадии истории человечества: детски-счастливое патриархальное общество и соблазнительную, но трагическую цивилизацию, герой рассказа уверовал в возможность третьей стадии — счастья цивилизованных людей. Характерно, что одной из первых при пробуждении была мысль о девочке — виновнице нравственного воскресения героя: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. <...> А ту маленькую девочку я отыскал...»²⁰³

Самое страшное преступление для Достоевского, не имеющее никаких оправданий, — это оскорбление, истязание ребенка. Поэтому нет большего злодеяния, чем то, что лежит на совести Ставрогина.

Знаменитый вопрос Ивана Карамазова, согласился ли бы Алеша быть архитектором прекрасного здания будущего общества, если бы в его фундамент пришлось положить одного невинно замученного ребенка, вырастает из всей логики детских образов Достоевского и ближайшим образом из многочисленных рассуждений о детях в «Дневнике писателя» и записных тетрадях к нему.

В январском выпуске «Дневника писателя» 1876 г. Достоевский говорил: «Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их состоянии. Поэма готова и создавалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста»²⁰⁴. Но та «поэма» (этим словом Достоевский называл общий замысел произведения), которая тогда была готова и отразилась в плане романа «Отцы и дети», напоминает будущих «Карамазовых» лишь одним — темой, обозначенной в заглавии.

Весной 1878 г., непосредственно приступая к работе над «Братьями Карамазовыми», Достоевский особенно озабочен изображением детей: «...Я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети и именно малолетние, с 7 до 15 лет примерно. Детей будет выведено много. Я их изучаю и всю жизнь изучал, и очень люблю и сам их имею»²⁰⁵.

Обратившись теперь к разрозненным наброскам в записных тетрадях середины 70-х годов, отдаленно предвосхищающим содержание «Братьев Карамазовых», посмотрим, какое место среди них принадлежит теме детей.

Первые черновые заметки, сюжетно и тематически связанные с «Карамазовыми», относятся к 1874—1875 гг.: известная запись «13 сент<ября> 74. Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, вроде истории Иль<ин>ского» (см. стр. 356), упоминание о беседе «молодого человека» с сатаной: «Меня все более бесит, что ко мне приставлен ты» (стр. 317), наброски о Лизавете Смердящей, появляющиеся сначала в рукописях к «Подростку», затем — к «Дневнику писателя» и «Братьям Карамазовым». Естественно, что во время работы над «Дневником писателя», которую Достоевский сам считал своеобразной творческой лабораторией романа, количество таких заметок увеличивается (см. об этом в статье Г. М. Фридляндера в настоящ. книге). Сюда можно было бы присоединить и некоторые записи, внешне связанные с другими темами, но потом получившие отклик в «Карамазовых». Например, представляя себе отношение каторжников из народа к Чацкому («если б его сослали»), Достоевский пишет: «Ты всего-то из банной мокроты зародился, сказали бы ему, как говорили ругаючись покойники из Мертвого дома. (А ведь половина, должно быть, теперь уж покойнички), когда хотели обозначить какое-нибудь бесчестное происхождение» (стр. 624). Эта народная метафора реализовалась в сюжетной ситуации «Карамазовых»: «бесчестное происхождение» Смердякова подчеркнуто тем, что Лизавета Смердящая родила его в «банной плесени». Связь между записью о Чацком и историей Смердякова более зло характеризует героя Грибоедова, чем все критические оценки, данные ему Достоевским в других местах.

В записной тетради упоминаются и «самарские ребятишки, умершие с голоду у иссохших грудей матерей» (стр. 412). Это, конечно, прообраз той картины, которая привиделась Мите Карамазову: «А при выезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, всё худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется ей лет сорок, а может, и всего только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока»²⁰⁶.

Размышляя о виновности отцов в связи с делом Кронеберга, истязавшего семи летнюю дочь, Достоевский записывает в тетради: «Я тебя родил. — Ответ Франца Мора. Рассуждение этого развратного человека я считаю правильным. — А не знаете, так справьтесь. Шиллер ведь так давно писал, да и драма так давно не дается на сцене» (стр. 422). С Францем Моором старик Карамазов сравнивает своего сына Дмитрия. Ненависть сына к отцу в такой ситуации Достоевский оправдывает, говоря это непосредственно от себя, чего нет в «полифоническом» романе, где отсутствует прямой голос автора. Таким образом, в записях 1876 г. созревание замысла «Карамазовых» ощущается еще отчетливее, чем в печатном тексте «Дневника писателя» 1876 г.

Анализируя все наброски записных тетрадей, так или иначе связанных со структурой будущего романа, можно заметить, что особое место среди них занимает дело Кронеберга. И не потому, чтобы мысли, высказанные здесь Достоевским, были важнее для «Братьев Карамазовых», чем рассуждения о «камнях и хлебах» или спор Великого инквизитора с Христом. Если говорить о фабуле романа, то гораздо большую роль для нее сыграла запись о трагедии Ильинского.

Записи Достоевского к статье по поводу суда над Кронебергом яснее, чем она сама, показывают значение этой темы для будущего романа. Из записей становится очевидным, что истязание дочери Кронеберга — не просто одно из слагаемых в будущей аргументации Ивана Карамазова. Дело Кронеберга, сравнительно с другими материалами, имеющими отношение к «Карамазовым», в этот ранний период работы вызвало наибольший эмоциональный отклик писателя и послужило толчком для его творческого воображения. Поскольку план романа об «отцах и детях» первоначально складывался так, как он запечатлен на стр. 445, Достоевский предполагал «всю историю Кронеберга» использовать «в эпизоде романа» (там же). Но даже когда план романа неузнаваемо изменился, история Кронеберга продолжала для автора символизировать неотмыщенные страдания ни в чем неповинных детей.

Среди набросков статьи о Кронеберге, представляющей отрывки взволнованной речи в защиту ребенка («Кто же за нее заступится? Дайте хоть в печати заступиться!») внезапно, как всегда у Достоевского, возникает громадное историческое и философское обобщение. Его нет в окончательном тексте статьи. Но оно не было забыто, и, как будто специально оставленное для будущего романа, претворилось потом в исповеди Ивана Карамазова: «Людовик 17-й. Этот ребенок должен быть замучен для блага нации. Люди не компетентны. Это бог. В идеале общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка, — и не принять этого спасенья. Это нельзя, но высшая справедливость должна быть та. Логика событий действительных, текущих, злоба дня, не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни, жизнь жизни» (стр. 422—424). Мысль о том, что абсолютный идеал справедливости нереализуем и вместе с тем необходим как высшая совесть человечества, что развитие жизни на земле неизбежно происходит в форме трагической, — характерна для Достоевского. Эта мысль значительно сложнее, чем прямолинейный отказ Ивана Карамазова от гармонии, купленной страданиями, и вместе с тем она включает нравственный идеал Ивана. В набросках о деле Кронеберга — этом «эмбрионе» большой темы будущего романа, взгляд Ивана — поборника «идеально-отвлеченной справедливости» существует в системе авторской диалектики. В дальнейшем, когда из первозданного творческого хаоса возникнет сюжет и герой, этический максимализм соединится в сознании Ивана Карамазова с ненавистной Достоевскому идеей превращения «камней в хлебы», «дух жизни» — с духом смерти.

Таким образом, дело Кронеберга, лишь вскользь упомянутое в окончательном тексте романа, для его творческой истории имело, на наш взгляд, первостепенное значение. Оно не может идти ни в какое сравнение с убийством мешанки Перовой или впечатлениями от посещения воспитательного дома, о которых говорится в первоначальном плане «Отцов и детей». В процессе Кронеберга перед Достоевским предстали вместе две важнейшие социальные темы будущего романа: «случайное семейство» и страдания малолетних детей, а гневное обличение виновников в речи самого Достоев-

ского стало прототипом идеи его героя. «Чтобы написать роман,— утверждал Достоевский,— надо запастись одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно»²⁰⁷. Одним из таких сильных «романообразующих» впечатлений стало дело Кронеберга.

У самых ранних истоков «Братьев Карамазовых» мы видим образ замученного ребенка. Он получит большое значение не только в идеологии, но и во всем построении уже законченного романа. Кроме Ивана, с темой и судьбой погибающего ребенка (Илюши Снегирева) связаны все братья. Дмитрий, жестоко надругавшийся над отцом мальчика, становится невольной причиной его несчастий (ожесточение, ссора с товарищами, смертельная болезнь после удара камнем). И есть, вероятно, по Достоевскому, некая связь этих обстоятельств с тем, что в ночь после первого следствия невинному «в крови отца своего» Мите снится сон о голодных, изможденных детях и он внезапно решает пострадать «за дите». Как для Ивана страдания детей символизируют все слезы человечества, которыми пропитана земля «от коры до центра», так и для Мити плач голодного крестьянского ребенка олицетворяет судьбу народную. В обоих случаях голос писателя сливается с голосом героя.

К жестоким душевным страданиям Илюши прямое отношение имеет и Смердяков: это он научил мальчика подбросить собаке хлебный мякиш с иголкой внутри. Настоящим другом Илюши и всех детей становится «ранний человеколюбец» Алексей Карамазов.

Так «детская тема» из «Дневника писателя» и записных тетрадей к нему перешла в последний великий роман Достоевского.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

С лета 1880 г. Достоевский все время находился в крайнем нервном возбуждении, на пределе духовного напряжения.

Началось с ожидания Пушкинского праздника. Достоевский готовился к выступлению как акту историческому, надеясь высказать вполне свое кредо и принести моральную победу «своей партии». «Мой голос будет иметь вес, а стало быть и наша сторона восторжествует»,— писал он жене из Москвы²⁰⁸. В другом письме ей же Достоевский сообщает, что на обеде, устроенном в его честь московскими литераторами, он с успехом читал конспект своей будущей речи²⁰⁹. Достоевский тяготился ожиданием праздника, день которого откладывался, но считал выступление своим долгом: «Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы. Уж когда Катков сказал: „Вам нельзя уезжать, вы не можете уехать“ — человек вовсе не славянофил, — то уж конечно мне нельзя ехать»²¹⁰. В письмах Достоевского этих дней постоянно фигурируют термины «их партия» (т. е. «западников») и «наша партия», «их направление» и «наше направление». Но ощущая себя в данный момент деятелем и оратором «партии», Достоевский достаточно ясно видит, что его популярность и успех определяются во многом «Братьями Карамазовыми»: «Одним словом я убедился, что Карамазовы имеют колоссальное значение»²¹¹. Накануне речи Достоевский пишет Анне Григорьевне: «Завтра мой главный дебют» (там же).

Триумфальный успех речи на короткое время заставил писателя поверить: «Это великая победа нашей идеи над 25-летним заблуждением»²¹². В действительности то была победа отнюдь не партии, а лично Достоевского, гениального художника и вдохновенного оратора, человека большой совести, горячо верящего в историческое призвание своего народа. Вскоре Достоевский понял, что его речь не убедила противников и не удовлетворила союзников. Победоносцев отозвался очень сдержанным письмом и позднее переслал Достоевскому «Варшавский дневник» со статьей К. Леонтьева «О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике». Леонтьев упрекал Достоевского в стремлении апеллировать к образу Христа независимо от церкви: «В речи г. Достоевского Христос, по-видимому, по крайней мере до того помимо церкви доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе, — даже не справляясь с азбучкой катехизиса, т. е. с самыми существенными положениями и безусловными требованиями православного учения, приписывать спасителю никогда не вы-

сказанные им обещания „всеобщего братства народов“, „повсеместного мира“ и „гармонии“²¹³. Все это Леонтьев воспринимал как уступку европейской демократии.

Ересь Достоевского Леонтьев противопоставил ортодоксии Победоносцева, который в те же дни произнес „благородно-смирненную“ речь в Ярославской епархии на выпуске в училище для дочерей священно- и церковнослужителей. Косвенным откликом на Пушкинскую речь Достоевского были слова Победоносцева по поводу предстоящего выпуска «Дневника писателя»: «В добрый час и благослови вас боже! Лишь бы ваша мысль стояла в вас самих ясно и твердо, *в вере*, а не в колебании, тогда нечего обращать внимание на то, как она отразится в разбитых зеркалах — еже есть журналы и газеты наши»²¹⁴. Готовя к печати текст Пушкинской речи и свой ответ Градовскому, «*наш profession de foi на всю Россию*», Достоевский был угнетен мыслью, что «знаменательный и прекрасный, *совсем новый* момент в жизни нашего общества, проявившийся в Москве на празднике Пушкина, был злонамеренно затерт и искажен» в прессе, особенно петербургской²¹⁵. Как видим, Победоносцев и Леонтьев не разделяли этого взгляда, не резко, но недвусмысленно адресуя главный упрек самому Достоевскому. Достоевский пробовал возражать: «Леонтьев в конце концов немного еретик — заметили Вы это?» — писал он Победоносцеву²¹⁶, но сочувствия, по-видимому, не встретил.

В последней записной тетради Достоевский полемизирует с Леонтьевым: «(Не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет.) В этой идее есть нечто безрасудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода; уж коль все обречено, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо» (Бгр., 369). Кроме того, он подозревает, что у оппонента после «Дневника» и речи в Москве было нечто к нему завистливое (там же).

После речи о Пушкине Достоевский, говоря его же собственными словами, был «как в лихорадке», всеми силами пытаясь возратить и закрепить успех незабываемого дня 8 июня. По поводу специального выпуска «Дневника» с речью о Пушкине он заявлял: «То, что написано там — для меня роковое»²¹⁷, «меня проклянут на семи соборах»²¹⁸, «на меня подымут все камни»²¹⁹. Азарт борьбы, ожесточение, озлобленность, отразившиеся в письмах Достоевского этого времени, во многом определили тон полемических записей в его последней тетради.

«Отечественные записки» по инициативе Салтыкова не раз выступали с критикой речи о Пушкине. Первой корреспонденцией Г. И. Успенского, присутствовавшего в Москве на Пушкинском празднике, Салтыков остался недоволен, и очевидно по его предложению Успенский написал заключительную часть статьи, которая была помещена в той же июньской книжке журнала под названием «На другой день». Основываясь не только на впечатлении от живой речи Достоевского, но главным образом на тексте ее опубликованном «Московскими ведомостями», Успенский подчеркивает теперь, что «г. Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображений, уже не всечеловеческого, а всезачьего свойства»²²⁰. В письме 27 июня Салтыков просил Михайловского охарактеризовать речи Достоевского и Тургенева в следующем номере «Отечественных записок». Михайловский сделал это в статье «Литературные заметки»²²¹. Выражая мнение редакции, он отметил, что «увлеченный общим настроением минуты, г. Г. Успенский» подслушал в речи г. Достоевского то самое, что ему подсказало его собственное сердце, и только затем, посмотрев на дело „с холодным вниманием рассудка“, разобрал, что речь эта есть пустая и не совсем умная шутка. Да, пустая, потому что человек не дал ни одного твердого вывода, ни одной непоколебляющейся мысли...»²²². Достоевский почувствовал руководящую роль Салтыкова в той единой позиции, которую заняли публицисты «Отечественных записок» по отношению к его политической программе. В последней тетради он изливает свое раздражение по этому поводу: «Щедрин — всю свою стаю Глебовых, Михайловских, Елисеевых. „Отечественные записки“. Вас трепещет вся литература, особенно Сатирического старца. Никто против него не посмеет: дескать либерал, проеден либерализмом» (стр. 670).

Заметим, что при обсуждении речи Достоевского в обоих враждующих лагерях подчеркивалась нестройность, противоречивость его концепции. О «колебаниях мысли» Достоевского говорят и Михайловский, и Победоносцев.

В чем же особенность позиции Достоевского, как она выразилась в Пушкинской речи, двух последних выпусках «Дневника писателя» и последней записной тетради?

Несмотря на то, что в речи о Пушкине и даже «Дневнике писателя» 1880 г. эта позиция выражена с гораздо большим оптимизмом, чем в «Дневнике» 1881 г. и тем более — в записях, сделанных для себя, когда в последние месяцы жизни Достоевский особенно остро ощущал свое идейное одиночество, мы все-таки можем говорить о его концепции в целом. Важное значение для ее понимания имеет записная тетрадь 1880—1881 гг.

Положение в стране в 1880 г. представляется Достоевскому крайне тяжелым. По мрачному тону большинства его записей мы видим, что он в отличие от многих либеральных идеологов не разделял надежд на те меры, которые принимало правительство Лорис-Меликова. Освобождение крестьян, — по словам Достоевского, — произвели «отвлеченно», жалая крестьянина «и сочувствуя ему как рабу, но отрицая в нем личность» (стр. 680). Экономическое и правовое положение народа, его нравственное состояние вызывают у Достоевского, как он сам говорит, «болезненно-тревожное внимание»: «У нас прежнее земледелие разрушено освобождением. Закона о рабочих и даже об обозначении владений нет. Крестьянин срамит и позорит почву, убивает скот некармлием, пьянством, и не может (не видно по крайней мере в будущем), чтоб он возвысился над *minimum* 'ом, который дает ему земля». И вывод: «Неразрешимые задачи, стоящие грозой в будущем» (стр. 673). Поборы и налоги, лежащие тяжелым бременем на крестьянине, беззакония правительственной администрации и превращение земских учреждений в придаток бюрократической машины, — все это делает жизнь народа нестерпимой. Связанный по рукам и ногам, народ, хоть и жаждет выхода, но не может двинуться с места, как «муха в патоке». «Это безначалие и отсутствие законности имеет развращающее свойство не менее пьянства. Доведет до отчаяния, до бунта» (стр. 670). Слово «отчаяние» применительно к положению народа часто повторяется в записях Достоевского. В течение 1878—1880 гг. среди крестьянства упорно распространялись слухи о том, что в ближайшее время будет произведен передел земли. Особое совещание — правительственный орган, созданный специально для борьбы с революционным движением по указанию Александра II, рассматривало вопрос о пресечении слухов и толков по поводу «черного передела». В «Объявлении», подготовленном с этой целью, говорилось, что «слухи... разносятся по селениям или людьми злонамеренными, которые имеют в виду лишь дурные и преступные цели <...> или же людьми из среды крестьян, наслушавшихся лживых рассказов»²²³. Достоевский не обвиняет в распространении слухов ни революционных пропагандистов, ни простодушных крестьян, якобы им поверивших. Он видит, что вопрос о наделах назрел в самой крестьянской жизни («войдут в отчаяние, подымут вопрос о наделах» — стр. 670), а деревенская буржуазия воспользуется этим в своих корыстных целях: «Тоже кулаки начнут агитировать, сбивать и волновать насчет новых царских и злостных грамот и начнут это делать, чтоб отвлечь внимание народа от своих же повинностей» (там же).

Резко отрицательно оценивает Достоевский деятельность государственного аппарата. Понятия «чиновник» и «попиратель свободы народной» для него — синонимы. Под ироническим заглавием «Машина важнее добра» он излагает типичную точку зрения чиновников, мечтающих лишь о сохранении существующего порядка вещей: «Правительственная административная машина — это все, что нам осталось. Изменить ее нельзя, заменить нечем без ломания основ. Лучше уж мы сами сделаемся лучшими, — говорят чиновники. Канцелярский порядок воззрения и управления Россией, даже хоть бы и было гибельно, все-таки лучше добра» (стр. 678). Да, Достоевский во многих отношениях не был консерватором, как он не раз заявлял своим читателям. «Канцелярский порядок воззрения» он ненавидел. Известно, что, высмеивая идею Достоевского об «оздоровлении корней», Салтыков в третьем письме «к тетеньке» вывел в качестве делопроизводителя комиссии по «оздоровлению корней» Расплюева. Но мы видим, что сам Достоевский очень боялся, как бы за исполнение его любимой мысли не взялись, если и не Расплюевы, то во всяком случае бездушные бюрократы. Вот что записал он в тетради: «К оздоровлению корней — это можно приступить, и определить даже на то миллион-другой в год <...> комиссию составить для исследования способов к оздоровле-

нию корней, и подкомиссию для собрания сведений, а так, чтобы все бросить и только о корнях думать, нет, это нельзя» (стр. 688).

«Корни» — это народ, его жизненные интересы, но прежде сего, по Достоевскому, — дух народный. Они отравлены всеми условиями современного существования и все-таки еще достаточно здоровы. Чтобы добиться полного оздоровления «корней», а значит и всего «дерева», необходимо, с точки зрения Достоевского, решительно порвать с европеизмом во всех областях русской жизни. Само понятие европеизма трактуется крайне широко, как никогда прежде у Достоевского. «Европейцы» — это и правительственные чиновники, и земцы, и капиталисты, и вся интеллигенция. Пользуясь терминами «западники» и «славянофилы», Достоевский считает, что первые выступают как огромная сплоченная партия (поскольку к ней он причисляет всех «европейцев» без разбора), а вторые только лишь нарождаются в новом качестве. Идею конституции Достоевский рассматривает как барскую затею русских европейцев, презирающих народ и желающих распорядиться его судьбой («господчина»).

В 1880 г. Верховная распорядительная комиссия во главе с Лорис-Меликовым получала большое количество проектов «спасения России». Они писались представителями разных партий и просто частными лицами. Пародией на один из таких проектов должно было, по-видимому, стать сочинение героя Достоевского — «мечтателя, сумбуриста», о чем свидетельствуют наброски в записной тетради. Автор «Проекта» издевается над готовностью поклонников Европы разбазарить все русское, вплоть до территории страны, отказаться от своей самобытности, лишь бы услужить кумиру. В угоду Европе они готовы предаваться только праздности и веселости, подчинив этой цели даже русскую литературу: «Тургеневых, Львов Толстых, заставить их, велеть. <...> Плеяду, плеяду заставить. <...> Ну Островский не годится, не тот род, нейдет, Писемский тоже, тебя тоже не надо, ты мрачен» (стр. 690). Вероятно, Достоевскому вспомнились слова известного консерватора, историка Д. И. Иловайского, сказанные в Обществе любителей российской словесности, когда читалась глава из «Анны Карениной». «Иловайский громко провозгласил, — писал Достоевский жене, — что нам (любителям) не надо мрачных романов, хотя бы и с талантом (т. е. моих), а надо легкого и игривого, как у графа Толстого» ²²⁴.

Утопический идеал Достоевского, его собственный «проект спасения России» заключался в единении народа с царем, без участия бюрократии и интеллигенции, принятие интеллигенцией, в том числе и революционерами, «народной правды». «А потому, чтоб интеллигенция, когда услышит от народа всю правду, поучилась бы сама этой правде, прежде чем свое-то слово начать говорить. <...> Как осиротеют доктринеры, вся молодежь от них отшатнется, даже взрыватели отшатнутся и примкнут к русской правде», — читаем в записной тетради (Бгр., 364—365). Противопоставляя народ интеллигенции, Достоевский защищает в споре с Кавелиным христианское понятие нравственности, построенное на чувстве, а не на убеждении.

Революционным террористам, равно как и тем, кто пытается пресечь террор с помощью казней, Достоевский предлагает идею суда церковного: «Казнь Квятковского, Преснякова и помилование остальных NB! <...> Что такое казнь? В государстве — жертва за идею. Но если церковь — нет казни» (стр. 672—673). Однако он не идеализирует современную церковь, считая, что она «в параличе», не идеализирует и царя: «Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит» (Бгр., 366).

Утопия Достоевского противоречива. Антиправительственная во многих отношениях, она одновременно и антиреволюционна. Враждебная консерватизму, она в итоге оказалась глубоко консервативной. Нужно иметь в виду также, что никакой завершенной концепции у Достоевского не было. «Все это у нас страшно насущно и страшно не решено. И вообще у нас все теперь в вопросах», — писал он незадолго до смерти ²²⁵. Но при всех колебаниях и заблуждениях, характерных для социально-политического мечтательства Достоевского в последних выпусках «Дневника писателя», в одном он был непоколебим — в искреннем и страстном желании народного блага. Об этом, в частности, говорят и многие черновые записи, не вошедшие в книгу «Биография, письма и заметки из записной книжки» 1883 г. и публикуемые нами впервые.

В сентябрьском номере «Отечественных записок» 1880 г. появились одновременно «Литературные заметки» Михайловского и та глава из книги Щедрина «За рубежом», где происходит разговор «мальчика в штанах и мальчика без штанов». Щедрин и Михайловский полемизируют с идеями Достоевского, высказанными в Пушкинской речи и ответе Градовскому. Подобно тому, как в самом начале спора, в 1873 г. Михайловский разъярял Достоевскому убеждения и принципы своего поколения, он делает это и теперь, как бы подводя итоги прошедшего десятилетия. Это исповедание веры выдающегося представителя русского народничества 70-х годов, обращенное к Достоевскому, обнаруживает не только резкое различие в убеждениях, но и очень важную близость некоторых исходных положений. «...Интересы народа стали для нас краеугольным камнем политического мышления», — дважды подчеркивает Михайловский. Мысль о возможности избежать европейского, капиталистического пути развития в России Михайловский называет «одной из интимнейших и задушевнейших идей нашего времени; ту именно, которая придает семидесятым годам оригинальную физиономию, ради которой они, эти семидесятые годы, принесли страшные неисчислимые жертвы, о чем, впрочем, говорить еще рано»²²⁶. Несомненно Достоевский прочел эти слова с сочувствием, равно как и следующие: «Благонамеренные представители центральной власти и народ, в нашем предположении, должны были положить почин новому, особливому историческому пути для России. Но если между этими элементами противится всемогущий братский союз местного кулака с местным администратором, то наша теоретическая возможность обращается в простую иллюзию»²²⁷. Это сходство тревог и надежд заставило Достоевского, вероятно, внимательно прислушаться и к горьким упрекам Михайловского. Михайловский обвинял Достоевского в том, что он не разглядел настоящих героев своего времени: «О, г. Достоевский, если бы вы только могли догадаться, какую глубоко комическую непроницательность обнаруживаете вы, утверждая, что только после вашей речи и под ее влиянием „объявились ярко и ясно“ люди, жаждущие подвига и обетования дела: много, много раньше они объявились»²²⁸. Призыв «искать себя в себе» Михайловский назвал фарисейским, а самого Достоевского — «господином, именующим себя любителем народа и из-за начальства не видящим этого самого народа». «Мы себя в себе не искали, — писал Михайловский, — что греха таить, если это только в самом деле грех, а не просто напыщенная бессмыслица. Это вовсе не значит, что идеалы личной нравственности — дело пустое и внимания не стоящее, но ставить их в независимость от „учреждений“ значит или нечисто играть или дела не понимать»²²⁹. С предложением «потрудиться на ниве народной» Михайловский обращается к самому Достоевскому. И все же, несмотря на суровость той отповеди, которую Михайловский дает Достоевскому-проповеднику, здесь нет полного антагонизма. Иначе не мог бы, вероятно, Михайловский, сформулировав свои основные убеждения, иронически заметить, что Достоевский «нашу же идею заливает деревянным маслом из лампадки»²³⁰ (подчеркнуто мной. — Л. Р.).

Говоря о душевном состоянии Достоевского после Пушкинской речи, нельзя не обратить внимания на одно важнейшее обстоятельство его творческой жизни. Сразу же после триумфа в Москве, Достоевский с особенным вдохновением бросился писать «Карамазовых» и именно девятую главу четвертой книги «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», главу, где «колебания в вере» проявились с новой силой. Он признавался Н. А. Любимову, что писал эту главу «почему-то с удовольствием», и настоятельно просил сохранить выражение «истерические взвизги херувимов» и рассказ об «исповедальных будочках»²³¹. Тема атеизма, гениально воплощенная в пятой книге романа «Рго и сонга», была продолжена Достоевским в изображении ночной беседы Ивана с чертом. Именно так определял эту связь сам автор. Возражая Кавелину, он сделал в тетради знаменитую запись: «Инквизитор и глава о детях. <...> И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе черт» (Бгр., 375). Характерно, что, хотя «осанна» уже прошла через «горнило сомнений», у Достоевского каждый раз являлась неистребимая потребность начать как бы сначала, вновь и вновь испытывая свою веру логикой «эвклидовского» разума.

Духовный крах и одновременно первые проблески освобождения Ивана от идеала «человекобога» и от теории «все дозволено» рисует Достоевский в сцене ночного диалога с чертом. Дьявольский двойник героя все время держит его «между верой и безверием». Атеистические аргументы разума неопровержимы: бессмысленным представляется путь в квадриллион мучительных километров, чтобы в конце его провозгласить: «Осанна!» Поэма Ивана под названием «Геологический переворот» рисует соблазнительную картину «золотого века» без бога и бессмертия. Однако убеждения Ивана, оставаясь непоколебленными, вызывают в нем внутренний протест, муки совести. «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения? Проверка же их одна — Христос. Но тут уж не философия, а вера», — записывает Достоевский в последней тетради (стр. 675). И далее: «Инквизитор уж тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его, могла ужиться идея о необходимости сожигать людей. <...> Все Христовы идиши оспоримы человеческим умом и кажутся невозможными к исполнению» (там же). Достоевский ни в чем не погрешил перед художественной правдой, изображая пробуждение души Ивана Карамазова. Он не обратил его взора к церкви, отождествив (в который раз!) идею Христа с понятием совести.

Если в иных записях и статьях «Дневника писателя» Достоевский рисовал «золотой век» как нечто близкое, легко достижимое, то все его творчество в целом свидетельствует о другом. Необычайно тяжелым и мучительным представлялся ему путь человека к истине и справедливости. И не потому ли, провозгласив свой положительный идеал в речи о Пушкине, он снова погрузился в пучину сомнений?

III. ЭСТЕТИКА. ТЕОРИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Наименее противоречив был Достоевский в своих взглядах на искусство. Размышления писателя о литературе, рассыпанные в записных тетрадах, складываются в целостную концепцию. Достоевский воспринимает литературную деятельность как великое общественное служение. Несмотря на резкие высказывания о Тургеневе и Салтыкове, на критические замечания о Толстом и Некрасове, продиктованные часто глубокой идейной враждой, мы всегда ощущаем, что Достоевский нерасторжимо связан с крупнейшими деятелями русской литературы. Связан прежде всего высоким представлением о задачах искусства, о роли художника в духовной жизни своего народа. Именно поэтому в период полного разрыва отношений с Тургеневым, после Кармазинова в «Бесах», испещряя страницы записной тетради обличительными суждениями о Потугине и его создателе, Достоевский с полной искренностью прославляет «вековые и прекрасные» типы «Дворянского гнезда». Как бы ни полемизировал Достоевский с Салтыковым, он всегда признавал в нем талантливейшего художника, выдающегося сатирика. Расходясь во взглядах с Толстым, он считал его одним из «учителей наших». Одного не мог представить себе Достоевский — сознательного ухода Толстого из литературы: «Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел»²³².

В успехах литературы, воплощающих идеалы народа, Достоевский видел залог его духовного расцвета в будущем. Призвание писателя предполагало не только талант, но и высокий строй мыслей и чувств: «Литература — знамя чести» (стр. 544—545); «*Как только художник захочет отвернуться от истины, то тотчас же станет бездарен*» (стр. 429). И хотя Достоевский поместил этот свой тезис под рубрикой «новый закон», он выступил в данном случае как прямой ученик Белинского, некогда читавший перед петрашевцами «Письмо к Гоголю». Талант — неперемненное условие всякого творчества, никакие справедливые идеи не искупают его отсутствия; «Талант, да, во всем нужен талант, даже в направлении» (стр. 428 и 552), — дважды повторяет Достоевский. Утверждая, что «художественностью пренебрегают только лишь необразованные и туго развитые люди» (стр. 376), Достоевский пишет далее: «Вопрос о художественности решается просто: худо или лучше написать» (стр. 421). Однако в этой незамысловатой формуле «лучше писать» есть серьезный смысл: любая сложная идея или «проклятый вопрос» лучше воспринимаются сознанием, когда перед ним действительно художественное изображение

ние: «Если этот факт рассказать художественно (имеется в виду сюжет рассказа «Столетняя».— Л. Р.), т. е. вдохновился бы им великий художник, то могла бы выйти прехорошенькая картинка, с мыслию, с умением и даже с „проклятыми вопросами“, но под обаянием картинки вы не побоитесь „проклятого вопроса“» (стр. 449). Сама по себе художественность никогда не привлекала Достоевского, он усматривал в ней способность служить не только благим целям. Блестящий образец анализа ораторского мастерства Спасовича, его «ловких приемов» находим в «Дневнике писателя» 1876 г.²³³ Достоевский показывает, как умелое владение стилем помогает «замечательно талантливому» адвокату провести антигуманную идею: «...в этих маленьких, тонких, как бы мимолетных, но непрерывных намеках г. Спасович величайший мастер и не имеет соперника»²³⁴; «г. Спасович великий мастер закидывать такие словечки; казалось бы он просто обронил его, а в конце речи оно откликается результатом и дает плод». Присяжные заседатели находятся под воздействием «неотразимого давления таланта: Il en reste toujours quelque chose,— дело старинное, дело известное, особенно при группировке искусной, изученной». Такой тип таланта неприемлем для Достоевского. В записной тетради настойчиво повторяется ироническое определение, вошедшее затем в статью о Спасовиче: «Ce n'est pas l'homme, c'est une lyre!» (Это не человек, это лира!)²³⁵.

Многие из эстетических проблем, затронутых в набросках Достоевского, нашли отражение в его публицистических статьях, и, естественно, даны там более развернуто и аргументированно. Многие, но далеко не все. И среди них есть записи, имеющие для понимания эстетической теории и художественного творчества Достоевского первостепенное значение. Остановимся на трех центральных проблемах.

Первая: об отношении искусства к действительности.

Еще в записных тетрадях и статьях Достоевского 60-х годов встречается противопоставление «яблока натурального» и «яблока нарисованного» (стр. 251, 616). Есть оно и в набросках к «Дневнику писателя». Эти записи полемически направлены против эстетической теории Чернышевского в той ее части, где, по мнению Достоевского, превосходству действительности над искусством придается абсолютное значение и самобытность искусства определена недостаточно. Вместе с тем при всей «фантастичности» своего реализма Достоевский видел в действительности единственную основу искусства, основу неисчерпаемую и значительно превосходящую богатством содержания фантазию даже гениального художника: «А насчет Шекспиров и Гомеров, то искусство, без сомнения, ниже действительности» (стр. 419). «Никогда фантазия не может выдержать сравнения с действительностью. *Шедрин. Я это знал*» (стр. 578). Эти наброски предвзвешают известный рассказ Достоевского о беседе с Салтыковым, когда они признались друг другу в одном из главных своих эстетических убеждений: «что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении,— никогда вы не сравняетесь с действительностью»²³⁶.

Достоевский подчеркивает, что талант художника нужен не только для того, чтобы воссоздать факты действительности, но чтобы приметить их, выделить по значению среди массы других, понять смысл явления. «Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни,— и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах?» (там же). Эта мысль Достоевского достаточно хорошо известна. Однако нужно проследить развитие этой мысли, которое имеет очень важное значение. Достоевский продолжает: «Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте, и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, — он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий»²³⁷. Очевидно обе крайности: ординарная, пошлая простота понятий и трагически безысходное стремление к прямолинейности, по мнению Достоевского, исключают возможность

художественного творчества. Поскольку «весь наличный смысл человеческий» располагается между двумя этими крайностями, задача художника, не рассчитывая на простые и окончательные ответы, как можно более глубоко проникнуть в существо явлений реальной действительности.

Но каким бы глубоким, даже гениально прозорливым ни был художник, — действительность в принципе неисчерпаема (в этом смысле «Шекспир и Гомеры» ниже действительности). «Но, разумеется, — пишет Достоевский, — никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное, видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека фантастическое»²³⁸. Поэтому, с точки зрения Достоевского, явление жизни, правдиво воспроизведенное художником, всегда обширнее, многозначительнее идейного толкования, которое имеется у автора. Более того, не только сам писатель, человек своей эпохи, не может «исчерпать» явления, этого не могут сделать и последующие поколения читателей и интерпретаторов. Поэтому великое произведение искусства при новом чтении, особенно в новую эпоху, можно как бы «открыть» заново. Передавая свой разговор с Салтыковым, Достоевский пишет: «Я именно заметил ему перед этим, что я, чуть не сорок лет знающий „Горе от ума“, только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина, и понял именно, когда он же, т. е. этот самый писатель, с которым я говорил, разъяснил мне Молчалина, вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков»²³⁹.

Исходя из убеждения о неисчерпаемом, безграничном богатстве действительности как вечного источника для искусства, Достоевский отдавал предпочтение необычным, исключительным явлениям, «фантастическим», по его терминологии, и при этом взятым из самой жизни. Отсюда его огромный интерес к газетной хронике, к истинным происшествиям и характерам, которые по своей необычности превосходят любое воображение, и вместе с тем концентрированно, почти символически воплощают основные тенденции времени. Чрезвычайный интерес Достоевского к документальности как бы предвосхищает то значение, которое приобретет документализм в искусстве XX века.

Говоря о «фантастическом реализме» Достоевского, необходимо иметь в виду, что многие факты, им изображаемые, находясь на грани реального, никогда не переходят за эту грань, всегда остаются в пределах возможного. Писатель был озабочен тем, чтобы всякий раз с абсолютной точностью, реалистически мотивировать «фантастику». Высылая в «Русский вестник» главу «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», Достоевский писал Н. А. Любимову: «Долгом считаю, однако, Вас уведомить, что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галлюцинации перед „белой горячкой“ возможны. Мой герой, конечно, видит и галлюцинации, но смешивает их с своими кошмарами»²⁴⁰. В письме к врачу А. Ф. Благоговарову, подтвердившему абсолютную верность картины психического заболевания Ивана, Достоевский сообщал: «За ту главу Карамазовых (о галлюцинации), которую Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшими „до чертиков“. Они наивно воображают, что все так и воскликнут: „Как? Достоевский про черта стал писать? Ах какой он пошляк, ах как он неразвит!“ Но кажется им не удалось! Вас, особенно как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласится, что другой этот человек (Ив. Карамазов), при данных обстоятельствах, никакой иной галлюцинации не мог видеть, кроме этой. Я эту главу хочу впоследствии, в будущем „Дневнике“, разъяснить сам критически»²⁴¹. Соответственно в последней записной тетради отмечено: «Черт. (Психологическое и подробное критическое объяснение Ив. Федоровича и явления черта)» (Бгр., 369). Достоевский считал: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему»²⁴².

Очень интересные разграничения между разными видами фантастики провел он еще во вступительной статье к «Трем рассказам Эдгара Поэ», напечатанной в январской книжке «Времени» 1861 г. Сопоставляя По и Гофмана, Достоевский отмечает «внешний», «материальный» характер фантастики первого и высокий смысл явно неправдоподобной фантастики второго. Хотя Достоевскому импонирует реалистическая мотивировка

необычайных сюжетов в По, их неодолимость его разочаровывает. Из двух названных писателей Достоевский отдает свои симпатии Гофману, но характерно: более всего — тем его произведениям, в которых есть «красота действительности», «сила действительная»²⁴³. Сам Достоевский в самых фантастических своих сценах всегда остается на почве действительности. Выражаясь языком современным, Достоевский настойчиво предпочитает изображение жизни в формах самой жизни, каких бы конкретных тем это ни касалось. Неисчерпаемость реальной действительности притягивает его, так как дает безграничные возможности познания человека. Можно с уверенностью сказать, что Достоевского не увлекло бы условное искусство XX века, в котором изображается по существу только познаваемая действительность, ибо весь жизненный материал, входящий в произведение, соответствует авторской концепции.

Вместе с тем Достоевского отталкивал реализм, граничащий с натурализмом. В нем он критиковал самоцельность подробнейших описаний внешних сторон жизни, заслоняющих главный предмет искусства — человека. В записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский сделал заметки о романе Золя «Чрево Парижа» (стр. 618—619). Он строго судит роман с позиций своей эстетики: «стран. 30 о капусте и моркови (натянутый восторг). <...> Все это вздор, все это картины преувеличенные (Вот, дескать, как я описываю капусту!) — Глупости» (стр. 619). Достоевский критикует и положительный идеал Золя, находя его недостаточно нравственным: «Florent умирает с голоду и с гордостью отвергнул помощь честной женщины. Zola считает это подвигом, но в этом сердце нет братства» (там же). Противопоставленная фигуре Золя, еще ближе и роднее оказывается Достоевскому Жорж Занд, способная «заронить прекрасное в душу» (стр. 543).

Не только натурализм, но и реализм, ограничивающийся анализом действительности («фактицизмом»), не оваянный высокой мечтой («идеализмом»), представляется Достоевскому неполноценным искусством. «Чем больше вы удалитесь от „фактицизма“, тем лучше» (стр. 624). Достоевский подчас недооценивал те положительные устремления, которые не были прямо выражены в суровых и трезвых сочинениях шестидесятников. Он полемически противопоставлял «Решетниковым» другие произведения, где «великая идея передается таким душам, которые по-видимому и подозревать невозможно, что они заняты высшими идеями жизни: Фома-мученик, Влас, Жан Вальжан» (стр. 615). Вероятно, когда Достоевский совершенно искренне отстаивал перед Тютчевым превосходство «Отверженных» над «Преступлением и наказанием», он имел в виду, что создателю Жана Вальжана в большей мере удалось воплотить свой положительный идеал, чем ему. С таким отношением к задачам искусства связана замечательная мысль писателя, чеканно выраженная в тетради 1876 г.: «В поэзии нужна страсть, нужна *ваша идея* и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит» (стр. 610). Соответственно Достоевский различает *верность художника правде факта* и *правде поэтической*: «У Шекспира не было верности истории, а лишь верность *поэтической правде*. Верностью поэтической правде несравненно более можно передать историю нашей, чем верностью только истории» (стр. 613). Этот тезис, сам по себе справедливый, в творчестве Достоевского далеко не во всех случаях приводил к художественным удачам. Говоря его же словами о критиках «Современника», он нередко «нагибал действительность», трактуя ее в духе своей политической концепции. Его «поэтическая правда» не всегда совпадала с правдой истории. Но субъективно Достоевский во всех случаях стремился быть на почве действительности, открывать ее законы, исследовать бездонные глубины души человеческой. Развитие литературы воспринималось им как исторически обусловленный ряд художественных открытий, каждое из которых отражает определенный уровень познания мира и человека. Поэтом подлинно великими писателями Достоевский считал «поэтов и пророков» человечества, сказавших ему «новое слово». Свое собственное творчество он неизменно ощущал как определенную ступень в направлении этих духовных исканий, чувствуя глубокую связь с предшественниками и современниками на почве общего литературного дела.

Как мы уже упоминали, в записной тетради 1876 г. находится краткий конспект очерка истории мировой литературы от античности до современности. Основной критерий для периодизации Достоевского — нравственное состояние общества. «Древняя

трагедия — богослужение, а Шекспир отчаяние. Что отчаяннее Дон-Кихота. Красота Дездемоны только принесена в жертву. Жертва жизни у Гете. <...> Шекспир наших времен тоже вносил бы отчаяние. Но во времена Шекспира была еще крепка вера. Теперь же все действительно хотят счастья. Надо всем науки. Но наука еще захватила так мало людей. Общество не хочет бога, потому что бог противоречит науке. — Ну вот и от литературы требуют плюсового последнего слова — счастья. Требуют изображения тех людей, которые счастливы и довольны, воистину без бога и во имя науки и прекрасны, — и тех условий, *при которых все это может быть...*» (стр. 442). Итак, Шекспир и Сервантес особенно дороги Достоевскому, поскольку сохраняли высокий идеал в отличие от современной литературы отчаяния.

Достоевский понимает закономерность появления такой литературы, к которой во многом принадлежит и сам. В этой связи на других страницах он упоминает и своих героев, «придавленных камнем», как инженер в «Бесах» (т. е. Кириллов). Понимая, что наука уничтожает веру в бога, Достоевский признает естественность этого процесса, но, как всегда, восстает против попыток объяснить человека одной наукой. «Человек шире своей науки» (стр. 447). Современную литературу, доверившуюся разуму и пропагандирующую социальное переустройство мира как основу человеческого счастья, Достоевский упрекает в ограниченности. Это — так называемая литература *Дела*: «Дело, Писаревы, хотели поскорее решить, но не удалось». Не удалось не только у них, но и у талантливых утопистов Запада.

В противовес Достоевский выдвигает другой идеал — литературу красоты: «Прекрасное в идеале недостижимо по чрезвычайной силе и глубине запроса. Отдельными явлениями. Оставляйтесь правдивыми. Идеал дал Христос. Литература красоты одна лишь спасет» (стр. 448). В исторической перспективе развитие мировой литературы, по убеждению Достоевского, делится на несколько основных направлений: «литература богослужения», «литература отчаяния», «литература дела» и «литература красоты». Хронологически некоторые из этих направлений могут совпадать, например, «литература отчаяния» и «литература дела». По-видимому уже с начала 60-х годов Достоевский считал своим призванием, воссоздав подлинно трагическую картину действительности, противопоставить настроению отчаяния идеал красоты («Литература красоты одна лишь спасет»). Хотя идеал этот осознавался Достоевским как следование заветам Христа, по собственному же объяснению писателя, он был прежде всего олицетворением высшей нравственности, гармонической личности. Еще в 40-е годы Герцен употреблял термин «путеводная нравственность». Воплощением «путеводной нравственности» для Достоевского еще на каторге стал Христос. Силой Достоевского был не только бунт против страшного мира неотмыщенного страдания, не только его «большая совесть», не позволявшая принимать такой мир, но и мечта о прекрасном человеке, о светлом будущем России и всего человечества. Всеми силами души и поэтического творчества Достоевский стремится преодолеть «литературу отчаяния». Его человек из подполья, автор «Записок» — гениально воссозданный образ именно такого литератора, а сами записки — крик безысходного отчаяния. О таких людях Достоевский писал с горькой жалостью во время работы над романом «Подросток»: «Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. „Нет ничего святого“». Героям «подполья» представляется что и все таковы, а, стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого? Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна»²⁴⁴. Преодоление философии отчаяния и литературы отчаяния было пафосом Достоевского, главным устремлением его эстетической мысли. Это необходимо иметь в виду, сопоставляя Достоевского с теми писателями XX столетия, отечественными и зарубежными, в творчестве которых его влияние отразилось лишь со стороны психологии и философии отчаяния.

Нет сомнения, что основной пафос заметок Достоевского о путях истории искусства, находящихся в тетрадах к «Дневнику писателя», — в утверждении литературы красоты. Может быть, Достоевский так и не написал своей статьи потому, что уж слишком многое собирался вложить в нее. 4 февраля 1876 г. он, очевидно по этому поводу, писал Я. П. Полонскому: «„Дневником“ моим я мало доволен, хотел бы в 100 раз больше сказать. — Хотел очень (и хочу) писать о Литературе, — и об том именно, о чем никто с

тридцатых еще годов ничего не писал: *О чистой Красоте*. Но желал бы не сесть с этими темами и не утопить „Дневник“»²⁴⁵. Отталкивание от «литературы отчаяния» и утверждение «литературы красоты» — глубоко противоречивый, даже трагический процесс в сознании Достоевского. Упоная на христианские добродетели как единственную «точку опоры», которая даст возможность преобразовать мир, Достоевский постоянно убеждался в зыбкости такой опоры, в том, что нравственные силы отдельного человека, как бы могучи они ни были, не в состоянии помешать всевластию социального зла. И Достоевский вновь возвращается в сферу отчаяния, и опять собирает духовные силы для борьбы с ним. Таков путь его исканий в пределах каждого романа и от романа к роману. «Весь борьба», — сказал о Достоевском Толстой, и это следует отнести также к той титанической борьбе между «литературой отчаяния» и «литературой красоты», которая происходила в его творчестве.

То, как решал Достоевский-теоретик две предыдущие проблемы: об отношении искусства к действительности и об эстетическом идеале, дает возможность перейти к третьей. Это вопрос о «реализме в высшем смысле» (так называл свой творческий метод сам писатель). Широко известна запись Достоевского из последней тетради, напечатанная еще в первом томе его посмертного собрания сочинений в 1883 г.:

«Я. При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного) — хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему.

Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой» (Бгр., 373).

Начнем с этого, последнего тезиса. Исследователи толковали его по-разному. Справедливо указывали, в частности, на неприязненное отношение Достоевского к психологическому псевдоанализу. М. М. Бахтин писал: «К современной ему психологии — и в научной, и в художественной литературе, и в судебной практике — Достоевский относился отрицательно. Он видел в ней унижающее человека *овеществление* его души»²⁴⁶. Далее говорится о том, что преодолеть «овеществляющее обесценивание» человека дает возможность, по мнению Достоевского, лишь полифонический роман. Но вряд ли последнее верно. Достоевский не раз одобрительно высказывался о психологическом анализе Толстого, считая, например, сцену болезни Анны гениальным раскрытием «глубин души». Еще в 60-е годы, во время работы над второй редакцией «Двойника» его увлекала психология души «à la Толстой» (стр. 137). Психологический анализ в «Дворянском гнезде» и «Обломове» вызвал восторженные отзывы Достоевского. Бесспорно другое: всякое вульгарно-механистическое или примитивно-социологическое объяснение человека Достоевского отталкивало. «Достоевский постоянно и резко критиковал механистическую психологию, — отмечает Бахтин, — притом как ее прагматическую линию, основанную на понятиях естественности и пользы, так в особенности и ее физиологическую линию, сводящую психологию к физиологии»²⁴⁷. Об этом же говорит и Б. С. Мейлах в книге «Талант писателя и процессы творчества»²⁴⁸. Достоевский, по-видимому, отказывался называться писателем-психологом в обычном значении этого слова. Изображение сложного духовного мира человека, борьбы идей и страстей было для него не самостоятельной творческой задачей, а лишь средством проникнуть в «глубины души человеческой», понять природу этой сложности. Считая, что в самой природе человека заложено вечное противоборство двух начал — «я» и «не я», идеала Содомского и идеала Мадонны, что земной человек есть существо переходное, Достоевский был поглощен изучением самых разных вариантов «переходности», мучительных метаний человека между добром и злом. Слова Достоевского не следует понимать так, что он «не считал себя психологом ни в каком смысле» (Бахтин)²⁴⁹. Напротив, отвечая знаменитому актеру В. В. Самойлову, назвавшему Достоевского великим психологом, он писал 17 декабря 1879 г.: «Благодарю вас глубоко за ваше любезное письмо. Слишком рад такому автографу, а ваше мнение обо мне дороже всех мнений и отзывов о моих работах, которые мне удавалось читать. Я слышу мнение это тоже от великого психолога» (подчеркнуто мной. — Л. Р.)²⁵⁰.

Оставаясь великим психологом, но в пределах другой творческой задачи — быть

«реалистом в высшем смысле», Достоевский рисует сложнейший духовный мир своих героев, в котором много осознанного и еще больше подсознательного, «таинственного». Человек показан в его многообразных и часто неуследимых связях с другими личностями, обществом, народом, человечеством, вселенной. Достоевского особенно интересует человек в минуты катастроф, когда эти сложные и противоречивые связи острее обнажены и ярче осознаны. Понять природу душевных движений человека в эти роковые мгновения значило (по Достоевскому) приблизиться к решению «загадки человека». Но только приблизиться, ибо «начала и концы» он всегда полагал «фантастическими», хотя именно к ним стремилось его творческое воображение. Вряд ли Достоевский считал реалистом в этом высшем понимании одного себя. Наверное, он причислил бы к реалистическим «в высшем смысле» произведения и Сервантеса, и Пушкина, создателя Алеко, Татьяны, Германа, Дон-Гуана, имена которых настойчиво упоминаются в записных тетрадах. Сюда же конечно, отнес бы он и Гюго — автора «Последнего дня приговоренного к казни», и Толстого, написавшего трагические картины болезни и самоубийства Анны Карениной.

Рассуждения Достоевского в записных тетрадах о соотношении сатиры и трагедии важны для понимания его взгляда на «реализм в высшем смысле». В обличении зла Достоевский видел великую силу искусства и высоко ценил сатиру, но требовал от нее непременно положительного идеала, если и не прямо выраженного, то находящегося в подтексте, или, как тогда любили говорить, в «подкладке». Достоевский признавал лишь обличителей страдающих, чувствующих личную ответственность за все, что совершается в мире. В этом качестве он несправедливо отказывал Чацкому и современным сатирикам («Сатира наша, высказавшись положительно, боится потерять свое обаяние, боится, что скажут ей: „А, так вот, что у вас в подкладке, немного же!“» — стр. 608). Достоевский, судя по черновым заметкам, хотел написать большую статью о сатире и трагедии, сопоставив, в частности, Алеко и Чацкого. Симпатии Достоевского принадлежат здесь Алеко; этот герой внутренне очень близок творцу Раскольникова: «NB. Алеко — убил. Сознание, что он сам не достоин своего идеала, который мучает его душу. Вот преступление и наказание. (Вот сатира!)» — стр. 606. И несколько дальше: «NB. Алеко. Разумеется, это не сатира, а трагедия. Но разве в сатире не должно быть трагизма? Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира — две сестры и идут рядом, и имя им обоем, вместе взятым: *п р а в д а*» (стр. 608).

В той формуле «реализма в высшем смысле», которую записал в тетради Достоевский, есть еще один аспект: «Найти человека в человеке». Это значит обнаружить в современном человеке, изуродованном всей системой существующих отношений, хоть каплю подлинной человечности. Будучи верным правде жизни («при полном реализме»), показать условия проявления такой человечности. Здесь, как и везде, где Достоевский касается своего положительного идеала, он говорит о христианстве («ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного»). И как везде, Достоевский вкладывает в это понятие прежде всего высокий нравственный смысл. «„Образить“ — слово народное: дать образ, восстановить в человеке образ человеческий», — записывает Достоевский (стр. 414). Здесь речь все о том же — о желании найти «человека в человеке». В более ранней записной тетради Достоевский дает характерное определение эстетики, исходя из главной задачи собственного творчества: «Эстетика есть открытие прекрасных моментов в душе человеческой самим же человеком для самосовершенствования» (стр. 292). Идея эта в несколько иной форме была выражена писателем еще в начале 60-х годов в редакционном предисловии «Времени» к роману Гюго «Собор Парижской богородицы». Достоевский пишет о Гюго: «Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Эта мысль христианская и высоконравственная; формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. <...> Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи „восстановления“ в литературе нашего века»²⁵¹. Совершенно очевидно, что между идеей «восстановления» и стремлением «найти человека в человеке» существует глубокое различие, запечатлев-

шее идейный путь, пройденный Достоевским за два десятилетия. В первом случае пафос Достоевского — преимущественно социальный, направленный на общественные преобразования, во втором — преимущественно нравственный. Но весь этот путь Достоевский прошел с мечтой о свободном и прекрасном человеке, который когда-нибудь станет героем лучшего произведения XIX столетия: «Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится, наконец, вся, целиком, ясно и могущественно в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, „Божественная комедия“ выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов»²⁵².

Откроем вновь записную тетрадь 1876 г.: «...дурной человек, делающийся вдруг прекрасным в обороте жизни при наитии нормальных, естественных чувств» (стр. 447). В этой небольшой черновой записи заключено несколько дорогих для Достоевского мыслей. Достоевский считает, что путь к добру и справедливости не заказан ни одному человеку, даже дурному, что в этом следует видеть нормальное явление, победу естественных чувств. Большое значение он придавал внезапности душевного переворота («человек, делающийся вдруг прекрасным»). Впечатление неожиданности происходящей перемены («вдруг») в значительной степени внешнее. Так оно подчас воспринимается окружающими и даже самим героем, но Достоевскому-психологу удается показать, как исподволь подготавливалось это «вдруг», «наитие» новых мыслей и чувств. Не «вдруг» принес покаяние Родион Раскольников, не «вдруг» восстала против своих оскорбителей Настасья Филипповна (хотя всем показалось, что именно так), не «вдруг» решил пострадать за «дите» Митя Карамазов, не «вдруг» брат его Иван явился в суд дать показания об истинном убийце Федора Павловича. И не «вдруг» герой рассказа «Кроткая» пришел одновременно и к духовному возрождению и к полной катастрофе.

«Кроткая», по словам Салтыкова-Щедрина, — «жемчужина», каких «немного в мировой литературе»²⁵³. Действительно, в этом небольшом рассказе самые сильные стороны Достоевского отразились выпукло, концентрированно, в совершенной форме. И окончательный текст рассказа, занимающий весь ноябрьский выпуск «Дневника писателя» 1876 г., и творческие рукописи к нему обнаруживают, в частности, как полно проявились в этой работе эстетические убеждения Достоевского. Рассказ, названный «фантастическим», основан на реальном трагическом происшествии. Из газетного сообщения о самоубийстве бедной швеи взят лишь один, но важнейший для Достоевского факт: девушка выбросилась из окна с образом в руках; все остальное — характеры обоих героев, их взаимоотношения идут только от Достоевского и не связаны с реальным событием. Но необычный характер самоубийства возбуждает творческую фантазию писателя. Первая запись: «С образом из окна» (стр. 572). Постепенно характер будущей героини вырисовывается при сопоставлении с другой самоубийцей — дочерью Герцена. Следующая запись: «1) Две смерти. Дочь Герцена. Холодный мрак и скука. 2) Потом из окна с образом. Смирненное самоубийство. Мир божий не для меня. Как-то потом долго думается» (стр. 578). И несколько ниже опять: «Герцен./ С образом» (стр. 583). На этой стадии самоубийство девушки с образом мыслится, по-видимому, как тема публицистической статьи, подобно статье о дочери Герцена. Но вскоре, сохраняя внутреннюю связь с общей темой о двух самоубийствах, сюжет о девушке с образом приобретает самостоятельность и превращается в художественный замысел. Самое раннее свидетельство об этом — такая запись: «Осмотреть старый материал сюжетов повестей (из романа, Дети, Девушка с образом)» (стр. 588). Как можно судить по дальнейшим записям, в очень скором времени основное содержание повести и даже ее форма (исповедь героя) сложились достаточно определенно, и в той редакции, которая близка к окончательной.

Уже в связи с повестями 60-х годов мы отмечали, что творческая работа Достоевского над малыми жанрами существенно отличалась от работы романиста. Замысел и стиль рассказа в основных чертах возникали сразу, на едином дыхании. Приступив к воплощению замысла рассказа под названием «Кроткая» («Запуганная»), Достоевский записывает характерные реплики бивчивой исповеди героя. Это — «опорные» записи

для создания связного текста (с указаниями себе, автору, как лучше использовать их в композиции рассказа, которая тоже определилась): «С строгим удивлением — С горстку — Все это будет возрастать (т. е. впечатление в дальнейшем)» — стр. 594. В самом деле, эти записи очень значительны для характеристики душевного состояния героев. Первая относится к ней и с провозительной точностью, одной лишь деталью передает трагическое самочувствие героини, по-детски целомудренной, удивленной тем, что после всего происшедшего можно еще надеяться на любовь. «Она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо, но вдруг, — *строгое удивление* выразилось в глазах ее. Да, удивление и *строгое*. Эта строгость, это строгое удивление разом так и разmozжили меня: „Так тебе еще любви? любви?“ — как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала»²⁵⁴. Так развернута короткая заметка черновой рукописи в окончательном тексте. По записям к «Кроткой», как бы пунктиром прочерчивающим всю линию исповеди героя, ясно ощущается, что каждая определяет большой комплекс чувств и отношений, уже продуманных автором.

Часто одна деталь обозначает для Достоевского целый художественный образ, сложившийся в его представлении. Емкость такой детали очень велика. Следующая фраза — «С горстку» многое говорит о характере переживаний рассказчика. Это обрывок фразы, которую кто-то произнес над трупом самоубийцы: она лежала совсем как живая, только немножко крови вылилось, «с горстку». Эти слова неотвязно мелькают в мозгу несчастного, выражая его полную растерянность, душевное смятение. И еще одно — невозможность поверить в то, что случившееся непоправимо: ведь она лежит совсем как живая, никаких царапин, и крови после падения было всего лишь «с горстку». Как мало еще писалось о необычайном лаконизме Достоевского, умевшего маленькой деталью обозначить столь многое! Характерное свойство Достоевского — определять сложный образ одним или несколькими, почти нарицательными словами (подполье, мечтательство, люди из бумажки и т. д.) и, наоборот, — маленькое наблюдение, даже поговорку, разворачивать в большую художественную картину.

Интересна запись, не получившая отражения в тексте повести: «Портрет Папы, в Эрмитаже». Речь идет, конечно, о портрете Иннокентия X Веласкеса. Подобно тому, как картины Г. Гольбейна-младшего «Снятие с креста» (в «Идиоте») и «Ассиз и Галатея» Клода Лоррена (в «Подростке») символически воплощали важные темы этих произведений, портрет Иннокентия X соотносен с характером героя «Кроткой». В повести говорится, что, утверждая свою полную власть над «кроткой» в качестве некоего загадочного и сильного существа и держа ее почти в заточении, муж считал, однако, нужным изредка выводить ее из дому, бывать, например, в театре. Может быть, однажды не без умысла он должен был привести ее в Эрмитаж, чтобы насладиться тем впечатлением, которое произведет на юную душу лицо умного и жестокого властителя с выражением превосходства и какой-то неразгаданной тайны. Для Достоевского характерно стремление обнаружить внутреннюю связь между подпольным мечтательством (с гордыней обособления, жаждой власти над людьми) и идеями католицизма.

Публикуя первоначальные наброски к рассказу «Кроткая», мы имеем возможность проследить все этапы создания произведения. Рукопись, напечатанная в 1925 г. А. С. Долининным²⁵⁵, представляет уже связный текст. Но текст этот еще далек от окончательного, в частности, там нет всех названий глав. Продолжая работу, Достоевский вновь обратился к записной тетради и здесь дал полный и уже последний перечень заглавий (стр. 600).

Изучение творческих рукописей этого шедевра Достоевского дает возможность увидеть, как обретали плоть любимые идеи автора. Перед нами две сильные человеческие личности, показанные в самые трагические минуты жизни, не только в своем «прямом», но, как говорит рассказчик, и в «обратном характере»²⁵⁶. Бунт «кроткой» и духовное возрождение «подпольного мечтателя». Социальная атмосфера обрисована исчерпывающе глубоко. Но дело не только в том, что героине «уж некуда было идти»²⁵⁷, а ее муж, с юности желавший отомстить обществу, избрал жертвой самого близкого человека. Еще важнее, что каждый из них со своей болью, надеждами, добрыми порывами, фатально одинок, между ними стена непонимания, косность, а все люди вместе

слагаются в одинокое во вселенной человечество. Как сказано у Тютчева: «Нам мнится: мир осиротелый / Неотразимый Рок настиг! / И мы, в борьбе, с природой целой / Покинуты на нас самих». Трагедия личная и социальная перерастает в трагедию народную и даже вселенскую (таков, по Достоевскому, «реализм в высшем смысле»): «Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! „Есть ли в поле жив человек?“ — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. <...> Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля!»²⁵⁸. «Молчание» было системой поведения героя рассказа по отношению к «кроткой» («Я на молчание напер»), но, видимо, это и система существования всего общества (построенная на равнодушии и косности) и всего мироздания. Прорвать этот «заговор молчания» может, по убеждению писателя, лишь человек своим подвигом нравственности, душевной красоты. «Найти человека в человеке». Достоевский находит его в обоих героях рассказа. Оказалось, что в душе мрачного ростовщика, любившего скрапивать свою неприглядную роль цитатами из Гете, жила мечта о настоящей большой любви, ради которой он готов был навсегда бросить кассу ссуд и уехать в далекий, прекрасный край, в Булонь: «Весна, Булонь! Там солнце, там новое наше солнце...». Казалось, счастье было так возможно, так близко... Но вспомним слова Достоевского: «при полном реализме». «При полном реализме» оказывается, что даже «рай» герой мыслит не иначе, как в пределах привычного обособления: «Не знаешь ты, каким бы раем я *оградил* тебя»²⁵⁹ (подчеркнуто мной. — Л. Р.). Трудно пробить косность в окружающем мире, не легче пробить ее и в себе самом. «Всего только пять минут опоздал!». «Я великодушен, она тоже — вот и точка соединения! Еще бы несколько слов, два дня не больше, и она бы все поняла»²⁶⁰. В порыве безумного страдания герой искренне заблуждается, думая, что все происшедшее — результат чистого случая. Это страдание в глазах Достоевского дает ему моральное право на бунт в финале исповеди и даже на богоборчество, хотя и не снимает с него трагической вины. Как бы ни стремился Достоевский приблизить «возрождение» человека, он не желал подменять трагедию идиллией. Так «литература отчаяния» и «литература красоты» продолжали в его творчестве свой вечный поединок.

В статье о рассказе «Кроткая», напечатанной в 1925 г., А. С. Долинин писал: «Наш анализ, к сожалению, очень беглый, должен здесь на этом остановиться: по причинам, не от нас зависящим. Но вырастет новый серьезный читатель, настанут лучшие дни для истории литературы: к тому времени Московский Центральный архив уже опубликует свои варианты к большим произведениям Достоевского. И тогда станет возможным шире и глубже решать вопросы, касающиеся приемов его творчества»²⁶¹. Теперь все материалы из дошедших до нас рабочих тетрадей Достоевского, относящиеся к его большим романам, изданы. Завершилось это издание выпуском в свет тома 77 «Литературного наследия», где напечатаны все творческие рукописи «Подростка». Материалы, публикуемые в настоящем томе, и по объему, и по содержанию представляют самую значительную из той части рукописного наследия Достоевского, которая до сих пор оставалась еще неизданной.

Перед исследователями открывается новый, богатейший источник для изучения личности и творчества Достоевского.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, XI, стр. 146.

² «Письма», IV, стр. 62.

³ Там же, стр. 6—7.

⁴ Там же, стр. 137.

⁵ См. М. Бахтин и н. Проблемы поэтики Достоевского. М., «Сов. писатель», 1963.

⁶ «Письма», III, стр. 225.

⁷ Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 48, стр. 73—77.

⁸ Там же, стр. 114—116.

⁹ Там же, стр. 14.

¹⁰ Там же, стр. 76.

- ¹¹ Там же, стр. 14.
- ¹² Там же, стр. 69.
- ¹³ Там же, стр. 107 и далее.
- ¹⁴ XI, 134.
- ¹⁵ М. Б а х т и н. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 338—339.
- ¹⁶ X, 40.
- ¹⁷ XI, 408.
- ¹⁸ «Письма», I, стр. 430—432.
- ¹⁹ Там же, стр. 433.
- ²⁰ А. С. Д о л и н и н. Последние романы Достоевского. М.— Л., «Сов. писатель».
- 1963, стр. 325 и 327.
- ²¹ Сообщено Л. Р. Ланским.
- ²² А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30 томах. М., Изд-во АН СССР, т. XXVII, кн. 1, стр. 247.
- ²³ Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, стр. 240.
- ²⁴ «Жизнь и труды Достоевского», стр. 115.
- ²⁵ «Письма», II, стр. 311.
- ²⁶ «Биография...», стр. 244.
- ²⁷ «Письма», II, стр. 29.
- ²⁸ Этот вопрос рассмотрен нами в статье «Творческая лаборатория Достоевского-романиста» в т. 77 «Лит. наследства» (стр. 29—32).
- ²⁹ М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Собр. соч. в 20 томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1970, стр. 413.
- ³⁰ Н. С т р а х о в. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. СПб., 1890, стр. 167.
- ³¹ ЦНБ АН УССР, III, 19095. Сообщено Л. Р. Ланским.
- ³² «Биография...», стр. 299.
- ³³ «Русский вестник» 1901, № 1, стр. 130.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ ЦНБ АН УССР, III, 19007.
- ³⁶ «Письма», III, стр. 148.
- ³⁷ Там же, стр. 154.
- ³⁸ Там же, стр. 155.
- ³⁹ «Письма», II, стр. 166—167.
- ⁴⁰ Там же, стр. 366.
- ⁴¹ «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». Изд. Об-ва Толстовского музея. СПб., 1914, стр. 307—308.
- ⁴² «Биография...», стр. 302.
- ⁴³ ЦНБ АН УССР, I, 5239а.
- ⁴⁴ VI, 489.
- ⁴⁵ «Письма», III, стр. 204—205.
- ⁴⁶ Там же, стр. 219.
- ⁴⁷ Там же, стр. 233.
- ⁴⁸ «Письма», IV, стр. 93.
- ⁴⁹ «Лит. наследство», т. 15, стр. 139.
- ⁵⁰ «Письма», III, стр. 211.
- ⁵¹ Там же.
- ⁵² «Лит. наследство», т. 77, стр. 208 и 274.
- ⁵³ «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1964, стр. 416.
- ⁵⁴ XI, 27—28.
- ⁵⁵ «Письма», II, стр. 289.
- ⁵⁶ XI, 44—45.
- ⁵⁷ «Биография...», стр. 28.
- ⁵⁸ «Письма», IV, стр. 109.
- ⁵⁹ «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 2, стр. 383.
- ⁶⁰ «Письма», IV, стр. 108—109.
- ⁶¹ «Письма», III, стр. 206.
- ⁶² «Письма», IV, стр. 339.
- ⁶³ «Письма», III, стр. 202.
- ⁶⁴ XI, 29.
- ⁶⁵ Там же, 70.
- ⁶⁶ «Письма», III, стр. 267.
- ⁶⁷ XI, 93.
- ⁶⁸ Там же, 115.
- ⁶⁹ Там же, 125.
- ⁷⁰ Там же, 158.
- ⁷¹ Там же, 194.
- ⁷² Там же, 196.
- ⁷³ Там же, 204.

- ⁷⁴ XI, 208.
⁷⁵ Там же, 212—213.
⁷⁶ XII, 200.
⁷⁷ XI, 139.
⁷⁸ «Письма», IV, стр. 63.
⁷⁹ Там же, стр. 143.
⁸⁰ «Письма», III, стр. 206.
⁸¹ Там же, 206—207.
⁸² XI, 333.
⁸³ «Письма», III, стр. 207.
⁸⁴ XIII, 198.
⁸⁵ Там же, 206.
⁸⁶ Там же, 285.
⁸⁷ Там же, 234.
⁸⁸ Там же, 267.
⁸⁹ Там же, 281.
⁹⁰ Там же, 285.
⁹¹ Там же.
⁹² Там же, 503.
⁹³ Там же, 73.
⁹⁴ Там же, 74.
⁹⁵ Там же, 95.
⁹⁶ Там же, 235—236.
⁹⁷ Там же, 238.
⁹⁸ Там же, 505.
⁹⁹ Там же, 212—213.
¹⁰⁰ «Письма», I, стр. 142.
¹⁰¹ «А. А. Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. Вл. Княжнина. Пг., изд. Пушкинского Дома, 1917, стр. 267.
¹⁰² Там же.
¹⁰³ «Биография...», стр. 235.
¹⁰⁴ XIII, 293—294.
¹⁰⁵ Там же, 288.
¹⁰⁶ Там же, 290.
¹⁰⁷ Там же, 508.
¹⁰⁸ «Письма», III, стр. 312—313.
¹⁰⁹ Там же.
¹¹⁰ XI, 427.
¹¹¹ IX, 231.
¹¹² Там же, 219.
¹¹³ II, 459.
¹¹⁴ XIII, 51—52.
¹¹⁵ М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20 томах. М., 1968, т. 6, стр. 85.
¹¹⁶ Там же, т. 3, стр. 288.
¹¹⁷ Там же, т. 1, стр. 324.
¹¹⁸ Там же, т. 6, стр. 528.
¹¹⁹ Там же, т. 9, стр. 413.
¹²⁰ XI, 28.
¹²¹ Там же, 25.
¹²² IV, 214.
¹²³ XIII, 476.
¹²⁴ «Письма», I, стр. 85.
¹²⁵ Там же, стр. 87.
¹²⁶ Там же, стр. 86—87.
¹²⁷ Там же, стр. 88—89.
¹²⁸ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1956, т. X, стр. 40.
¹²⁹ «Письма», I, стр. 257.
¹³⁰ I, 183—189.
¹³¹ Там же, 152.
¹³² Там же, стр. 244 и 8.
¹³³ «Письма», I, стр. 82.
¹³⁴ IV, стр. 195.
¹³⁵ I, стр. 176.
¹³⁶ XII, стр. 297—298.
¹³⁷ «Письма», II, стр. 174.
¹³⁸ Там же, стр. 100.
¹³⁹ «Письма», I, стр. 198.
¹⁴⁰ Там же, стр. 108.
¹⁴¹ «Письма», IV, стр. 303.

- 142 XI, 147.
- 143 «Письма», I, стр. 142.
- 144 XI, 123.
- 145 Там же, 215.
- 146 «Лит. наследство», т. 15, стр. 138.
- 147 Там же, стр. 139.
- 148 Там же, стр. 131.
- 149 XI, 425.
- 150 Там же, 493.
- 151 «Лит. наследство», т. 15, стр. 139.
- 152 Н. К. Михайловский. Сочинения. Изд. редакции журнала «Русское богатство». СПб., 1896, т. I, стр. 868.
- 153 Там же, стр. 840—872.
- 154 Там же, стр. 828.
- 155 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 262—263.
- 156 А. С. Дольгин. Последние романы Достоевского, стр. 9—13.
- 157 Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, стр. 866.
- 158 Там же, стр. 865.
- 159 Там же, стр. 869.
- 160 XIII, 449.
- 161 Там же.
- 162 Там же, 450.
- 163 Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, стр. 826.
- 164 XI, 74—75.
- 165 Там же, 132.
- 166 Там же.
- 167 Там же, 134.
- 168 Там же, 135.
- 169 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. III, стр. 136.
- 170 Там же, стр. 149.
- 171 Там же, стр. 151.
- 172 Там же, стр. 177.
- 173 IX, 242—243.
- 174 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 23.
- 175 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 678, 685.
- 176 Там же, стр. 683.
- 177 Там же, стр. 178.
- 178 Там же, стр. 154.
- 179 IX, 257.
- 180 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 449.
- 181 Там же, стр. 457—458.
- 182 Там же, стр. 301—302.
- 183 Там же, стр. 889.
- 184 Там же, стр. 890.
- 185 Там же, стр. 302.
- 186 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., СПб., 1909, т. IV, стр. 235.
- 187 Там же, стр. 222.
- 188 XII, 355—356.
- 189 См. публикацию Г. С. Померанца в томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования».
- 190 С. Степняк. Подпольная Россия. СПб., 1906, стр. 29.
- 191 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч. СПб., 1913, т. X, стр. 67—70.
- 192 «Письма», IV, стр. 16—19.
- 193 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 942.
- 194 XI, 148.
- 195 Там же, 187.
- 196 Там же, 191.
- 197 Там же, 298.
- 198 Там же, 414.
- 199 Там же, 494.
- 200 Там же, 211.
- 201 XII, 210.
- 202 Там же.
- 203 Там же.
- 204 XI, 147.
- 205 «Письма», IV, стр. 7.
- 206 X, 178.
- 207 «Лит. наследство», т. 77, стр. 64.
- 208 «Письма», IV, стр. 157.
- 209 Там же, стр. 148.

- 210 «Письма», IV, стр. 157.
 211 Там же, стр. 170.
 212 Там же, стр. 171.
 213 «Варшавский дневник», 1880, № 169, 7 августа.
 214 «Лит. наследство», т. 15, стр. 145.
 215 «Письма», IV, стр. 182.
 216 Там же, стр. 195.
 217 Там же, стр. 189.
 218 Там же, стр. 186.
 219 Там же, стр. 189.
 220 Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. М.—Л., Изд-во АН СССР, т. 6, стр. 427.
 221 Щедрин. Собр. соч. в 20 томах. М., 1939, т. 19, стр. 159—160.
 222 Н. К. Михайловский. Полное собр. соч., т. IV, стр. 922.
 223 Цит. по кн.: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов. М., Изд-во МГУ, 1964, стр. 108—109.
 224 «Письма», III, стр. 178.
 225 XII, 426.
 226 Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 949.
 227 Там же, стр. 957.
 228 Там же, стр. 947.
 229 Там же, стр. 956.
 230 Там же, стр. 949.
 231 «Письма», IV, стр. 190.
 232 Там же, 154.
 233 XI, 199—205.
 234 Там же, 201.
 235 Там же, 202—203.
 236 Там же, 423.
 237 Там же.
 238 Там же.
 239 Там же.
 240 «Письма», IV, стр. 190.
 241 Там же, стр. 221.
 242 Там же, стр. 178.
 243 XIII, 523—524.
 244 «Лит. наследство», т. 77, стр. 342—343.
 245 «Письма», III, стр. 203.
 246 М. Бachtин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 82.
 247 Там же.
 248 Б. С. Мейлах. Талант писателя и процесс творчества. Л., «Сов. писатель», 1969, стр. 232.
 249 М. Бachtин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 83.
 250 «Письма», IV, стр. 124.
 251 XIII, 526.
 252 Там же.
 253 «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1957, стр. 606.
 254 XI, 468.
 255 «Достоевский. Статьи и материалы». Сб. II. М.—Л., «Мысль», 1925.
 256 XI, 457.
 257 Там же.
 258 Там же.
 259 Там же, 474.
 260 Там же, 473.
 261 «Достоевский. Статьи и материалы». Сб. II, стр. 437.